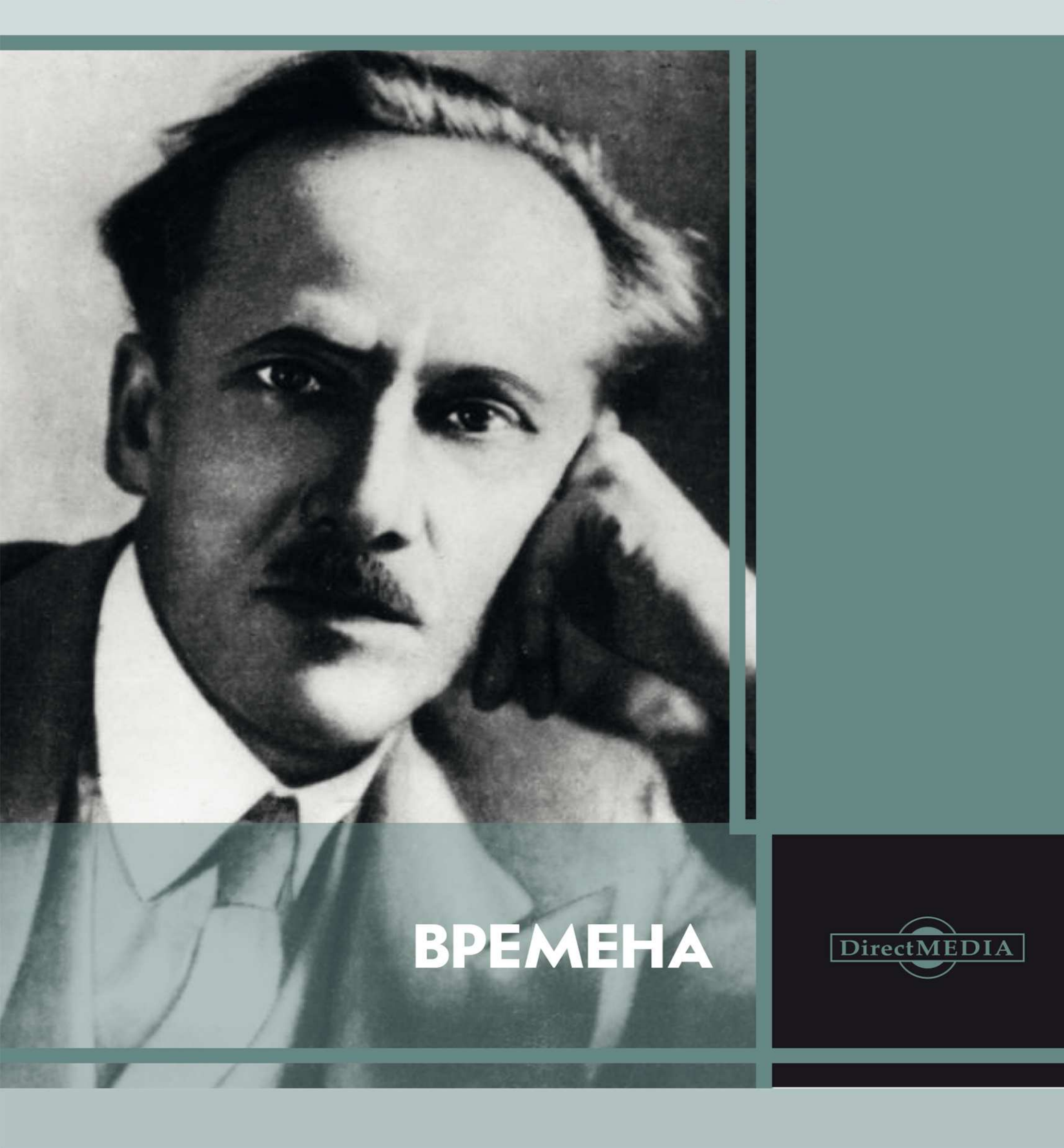
МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ОСОРГИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ



ВРЕМЕНА

DirectMEDIA

М. А. Осоргин

Времена



Москва
2014

УДК 82
ББК 84 (2Рос=Рус)
О-75

Осоргин, М. А.

О-75 Времена / М. А. Осоргин. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 167 с.

ISBN 978-5-4475-3392-2

Осоргин Михаил Андреевич (настоящая фамилия Ильин 1878–1942) – русский писатель, журналист, эссеист, один из деятельных и активных масонов русской эмиграции.

Вниманию читателей предлагается эссе «Времена», работа над которым началась незадолго до войны, полностью издание было опубликовано в Париже в 1955 году. О биографии писателя может судить по данным мемуарам, посвященным переломным в жизни России и ее народа моментам истории: «Россия – шестая часть света; остается еще пять шестых. К сожалению, не всякое растение легко выдерживает пересадку и прививается в чуждом климате и на чужой земле. Я почувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москве, в поездках по нашей огромной стране, на местах работы, в ссылках, даже в тюрьмах; вне России никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком…».

УДК 82
ББК 84 (2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4475-3392-2

Детство

При иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайних границ востока, а там на одну минуту распускается роза. Это – наше воспоминание о детских годах, и нужно им дорожить, оно мимолетно. Оно дается в утешение уже не имеющим будущего.

Далекое прошлое всегда – сказочная страна. Может быть, я родился в жалком городишке, о котором нечего рассказать, но я беру не палитру и кисти, а набор цветных детских карандашей и приступаю к работе. Я рисую приземистый дом в шесть окон с чердаком и с двух сторон протягиваю в линию заборы, за которыми непременно должны быть деревья, может быть липы и тополя, но во всяком случае черемуха, дерево самого раннего цветения. Мне ее не изобразить черточками, потому что тут все дело в горьком аромате, только недавно стаял снег, дворник сметал его с крыши, а ледяные сосульки откололись и упали сами, вкусные конфеты, от которых зябнут и румянятся пальцы в варежках, а на губах остается шерстяной вкус. Для начала – для весенних дней – никаких, ни ярких, ни мешаных, красок не нужно, и на севере мы начинаем с белого и черного: черное пробивается сквозь белое талыми островками, а золото солнца ненарисуемо и неописуемо, его сам представь и предположи. Этим начав, мы потом сразу переходим на музыку, слушаем капели и ручейки, и как вздыхают и кряхтят снега и льдинки, и как везде и нигде гомонят птицы, обычные наши вороны, галки и воробьи, и прилетные голоклювые любимцы Герасима Грачевника[1], и красноперые голосистые щеглята, и скворцы, для которых на каждом дворе ставились домики на высоких шестах. Этот гомон слышно даже сквозь двойные оконные рамы, и вообще весна не дожидается, чтобы вышли на нее посмотреть, а врывается сама и в щелочку, где отпала замазка, и в печную

---

[1] Любимцы Герасима Грачевника – день Герасима Грачевника (4 марта) считался сроком прилета грачей: в народе говорили, что «Герасим Грачевник грачей пригнал».

трубу, и на чердак, и бегом по лестнице в намокших валенках. Ей ждать некогда, потому что уж очень много предстоящих дел. Мать говорит: поди погуляй, да надень калоши, валенки промокнут, и по лужам не бегай, – и я, конечно, по лужам не бегаю, а топчусь в ручейках, пока в ногах не захлюпает холодная вода. На другое утро черное побеждает нестойкую белизну, а на улице перед домом оттаивает и вскрывается весь навоз, накопившийся за зиму, и тогда впервые появляются путаные цвета, из которых потом мы будем выделять красное к красному, зеленое к зеленому, все на свои места; конечно, и белое оставим – и вот расцветает черемуха.

Все это, несомненно, так и было, и мне было когда-то и три, и два года, но пишет не память, а воображение, и пишет не по архивным залежам, а лишь подбирая цветные камушки отшлифованных прибоем ощущений и подрисовывая их наблюдениями над другими детьми, тоже в валенках и варежках, тоже лакомками до ледяных сосулек. Вчера над французским полем я видел грачей, голоносых и черных с синим отливом, и нежность памяти перенес на них, а солнце было действительно то же самое и повернутое тем же боком. Крепко опершись на крючковатую палку с острым наконечником, я через грачовую сеть взглянул на дальний лесок и тут, без всякой связи линий и красок, вспомнил, что не могло быть у дома, в котором я родился, двух примыкавших к переднему фасаду заборов, потому что этот дом был угловым, и я родился за стеклом крайнего левого окна, так мне рассказали, и ясно вижу себя розовым комочком в пеленках, открывающим плаксивый беззубый рот. Этот дом стал врастать в землю со всеми окошками, в том числе и с крайним, а когда врос окончательно, то на его месте выстроили дом каменный; и все, и мать, и отец, и братья с сестрами, и ледяные сосульки, так и остались под землей, и я это видел своими глазами, когда вернулся после десятилетнего скитания по Европе и пожелал взглянуть на самую родную для человека точку земли, самую его настоящую родину в полметра земной поверхности. Все было чужое, и не стоило ехать тысячу верст, чтобы на это чужое смущенно и недоуменно смотреть.

Помню, однако, что улица была широка и по самой ее середине шла огороженная низким палисадом липовая аллея, которая у нас называлась бульваром. На пересечении поперечных улиц она прерывалась, и каждый ее отрезок с обеих сторон замыкался калитками. Так она шла из конца в конец города, и это значит, что от опушки пригородного леса до соборной площади, откуда был вид на Закамье – с высокого левобережья нашей замечательной полноводной стальной реки. Если я начал с описания родного дома, в котором жил только маленьким, раньше всех возможных ясных воспоминаний, то только для того, чтобы не упустить реки и леса, моих настоящих родителей. Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожьем, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, – я был и остался сыном матери-реки и отца-леса и отречься от них уже никогда не могу и не хочу. Если отречься, то придет и заберет нянина пособница бука и защекочет в темному углу, или, по-нынешнему, зацепит железными челюстями подъемный кран, заверещит лебедкой, черкнет по небу и горизонту крутым поворотом и выбросит на людной площади, где темные каски бьют с размаха обманутых и голодных людей, помочь которым я уже ничем не могу, так как утратил веру в рай из железобетона. Это страшное и досадное виденье я заслоняю любимейшими картинами, к которым возвращаюсь мыслью, куда бы ни забросила меня действительность. Нижний край зеркала реки был украшен деревянной резьбой пристаней и барок, верхний отделялся зелено-синей полосой от воздушного ничего. Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшами пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договоренной дружбе. Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным, про-

винциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием; сыном земли и братом любого двуногого. По другую сторону города, от реки вглубь, сейчас же за заставой с орлами, начинался лес, почти не рубленный и, конечно, нечищеный, так как для стройки и роста домов хватало береговых природных богатств и еще много пригоняли сплавов с севера. Между столбами заставы зачиналась и дальше уходила прямой гладью в тысячеверстие, лишь поднявшись и сбежав через хребет Уральских гор, укатанная почтовой гоньбой и утоптанная арестантами нескончаемая дорога, которую мы звали Сибирским трактом. Ближний отрезок этого тракта я знал с самых ранних лет: и особенно на его четвертой версте поворот налево, на плохую просельную дорогу, сначала в лес, потом ржаными полями, скатами, взбегами и перелесками – в деревню Загарье, где летом мы жили на даче, а попросту в пятидымной деревушке, в крестьянской избе, нависшей над склоном, заросшим душистой клубникой. Эту деревню я помню, как зарисованную в альбоме, хотя не видал ее больше полвека; и если бы попал в нее сейчас, то никогда не узнал бы, хотя бы она не переменилась: картина памяти моей нарисована детским воображением и взрослыми к нему поправками, моей литературной мечтой, не нуждающейся в реальном. Но не мог не быть скат к речке Егошихе, и лес за нею не мог не стоять глухой стеной, и была, конечно, поблизости от дома черная, прокоптелая хибарка – баня, из которой мужики выходили красными и шатаясь от угара, – этого всего никак не придумаешь. И было еще многое, о чем непременно надо бы вспомнить и рассказать, чтобы каждый мог мне сочувствовать и втайне завидовать.

Кроме нас, никто в той местности из городских людей не живал, – да было и негде, все избы считаны; только верстах в пяти был частный хутор (у нас не говорили имение) моей крестной матери Марьи Павловны, жившей с кухаркой и кучером, которые окружали ее заботами и льстивым поклонением, потому что считали себя ее прямыми наследниками: родных у нее на всем свете не было никого. К этому хутору от нас не было проезжей прямой дороги, а ходили как сейчас помню – сна-

чала через речку, потом на косогор и на большую поляну, дальше тропинкой елового леса до межевой ямы, той самой, в которой нашли корову, высосанную беглым арестантом, еще дальше с полверсты, по опушке над кручей, и тут выходили на дорогу колесную, и уже можно было увидеть вдали Марьи-Павловнин хутор, бревенчатую избу, чисто сложенную и забитую не клочковатой, а жгутом подвернутой паклей. У Марьи Павловны был настоящий шкап с зеркалом, были венские стулья и буфет, выше меня ростом. Сама моя крестная была крупной, громкоголосой, деспотической женщиной, в городе ее боялись, почти ни с кем, кроме нашей семьи, она не зналась, нигде не бывала, пила много кофею, кажется, была богата, откуда родом – не знаю, а по фамилии Керен, может быть по мужу немка, но говорила она очень хорошо, по-московски. Когда я был совсем маленьким, она сказала мне, что откажет мне в своем завещании тысячу рублей, и пока дала зеленую трехрублевку, на которую я не знал, что купить. Больше я от нее ничего не получал, и умерла она как-то нечаянно, ни когда, ни почему – не помню; я в то время уже читал Достоевского.

Про арестанта, который высосал корову, рассказывали мужики. Он держал эту корову в яме три дня, даже подкармливал ее травой, а чтобы она не мычала, обвязывал ей морду гибким прутом. И все-таки она мычала, и по мычанью ее нашли, а арестант успел убежать. Мужиков я не понимал. На то, что беглый (у нас говорили – варнак) высасывал корову, они не обижались и на ночь выставляли на крыльце чашки с кашей и вареную картошку, чтобы несчастненькие могли покормиться, не обижая ничем честных людей. И в то же время ходили в лес на облаву за варнаками и, поймав, заворачивали им лопатки и повязывали руки за спину. Может быть, так они поступали только с убийцами (полголовы брито) и с теми, кто воровал крестьянское добро. Мой отец, когда приезжал из города на дачу, всегда мрачнел, узнав о поимке мужиками арестанта, и ворчал, что вот не своим делом они занимаются. А между тем мой отец был членом окружного суда по уголовному отделению, значит – и судил, и приговаривал. Мужикам нашей деревни низкопоклон-

ство было неведомо, они помещиков никогда не знали; но и ласковости их не помню. В хвойных лесах ласковость не к месту и жизнь была суровой. Зайцев ловили силками и отдавали нам почти задаром, потому что в тех краях зайцев не ели, скармливали их кошкам; заяц поганый, а зла от него много: огороды портит. Я не помню ни песен, ни хороводов, может быть, потому, что мы жили в деревне всегда в страдное время, когда крестьянину не до песни. Все были поголовно неграмотны, и, когда я, пятилетний чистенький мальчик, лежал на траве с книжкой, ребята, завязив в носу палец, часами стояли поодаль. Потом, накопав червей, мы бежали на речку ловить уклеек на согнутую булавку, если только мать соглашалась пустить меня с ними. Но больше всего я проводил время в одиночестве, объедаясь клубникой на косогоре.

Был праздников праздник и торжество из торжеств, когда приезжал отец, на два-три дня, а раз в лето на две недели. Он всегда что-нибудь придумывал. С ним мы ходили в далекие прогулки, часто по лесу до самого кордона – до военного караульного поста в глубине леса, где, впрочем, никогда ни одного солдата я не видал. В этих походах с отцом я понял и полюбил лес, его тайну и его величие. Я узнал от отца, что темные орешки, которыми усыпан лес, это заячьи покидки и только по свежим может учуять зайца собака; но зайцев было в лесу столько, сколько в городе на неглавной улице прохожих людей. На елках было столько же и еще больше белок, которые прямо нам на голову сыпали шишечную шелуху. Волки летом держались далеко от людских жилых мест; медведей отец не велел мне бояться, они на человека не нападают, они очень добрые, питаются медом, ягодами, кореньями, да и не встретишь их иначе, как в очень глухом лесу без дорог и тропинок. Птиц отец называл по именам, но их было так много – самых разнообразных, и больших и маленьких, – что запомнить я не мог, только знал, что самая большая, испугавшая меня на опушке, где от ее взлета закачалась осина, была глухарь, впрочем уже знакомый мне по оперенью, потому что в городе часто приносили глухарей с базара. Так как мой отец не был охотником и брал с собой

в лес только револьвер-бульдожку и компас, то больше мы занимались растениями и цветами, собираньем которых он увлекался даже больше меня. Он привозил из городу кипу серой рыхлой бумаги, нарезанной большими листами, вдвое сложенными, и мы составляли гербарий. Мне было жалко, что белые весенние цветы в засушенном виде всегда желтеют: майники, ландыши, грушовки, линея, подснежник, розовая кислица, лесной анемон, прелестный сибирский княжик и тот ароматный столбик, который по-местному назывался римской свечой. Мы собирали папоротники и старались в них разобраться – кочедыжник, ужовник, стоножник, орляк, щитник, ломкий пузырник, дербянка. Было у нас великое разнообразие мхов – и точечный, и кукушкин лен, и волнистый двурог, и мох торфяной, и царевы очи, и гипнум, и прорастающий рокет. На полянах цветов было бессчетно, так что даже, отчаявшись собрать все, мы вдруг равнодушно отвертывались от их красоты и яркости и отдавали все внимание только злакам – пахучему колоску, лисохвосту, трясунке, перловнику, мятлику, костеру, гребнику и сборной еже. Возвращаясь домой через речонку, я набирал на болотце букет желтых купавок, которые очень любила мать, а если попадались крупные незабудки, тамошней нашей голубизны, то и их приносил матери, у которой были голубые глаза, ко мне не перешедшие: у меня глаза отцовские.

Но самым любимым нашим спортом был грибной, и тут все свои великие знания отец передал мне целиком. Я даже в раннем детстве не понимал, как можно ошибиться и принести домой поганку! Или как ложную лисичку не отличить от настоящей, при всем их кажущемся сходстве! Одно – масляник, и совсем другое – козляк. И рыжая волнушка все же не рыжик! Рыжиков мы также различали по сортам, и домой приносили только самых бутылочных и булавочных, потому что рыжиками были полны наши еловые и пихтовые леса. Головы боровиков нанизывались на суровую нитку и сушились на зиму, на Великий пост; белый груздь солился в кадушках, и наше дело было только набирать корзины, а остальным ведала Савельевна, наша строгая кухарка, которой мы все боялись, а мать перед ней

немножко даже заискивала. Но Савельевна приезжала в деревню только ближе к осени, как раз к грибам, а всегда была с нами моя нянюшка, Евдокия Петровна, мастерица по части ягодного варенья. Она никогда не упускала случая наварить побольше клубничного, потому что в городе клубники не достанешь никогда, а если и достать бы – не тот аромат, как на нашем косогоре. А впрочем, скажу просто и решительно: нигде в мире такой клубники, как наша, я никогда не встречал, и вообще эту ягоду немногие знают и путают с другими. И в Европе полевой клубники нет, разве что в Скандинавских странах. Если мне скажут: «Она есть!» – то я, прищурившись, ядовито спрошу: «Может быть, у вас растет и морошка?» – и человек увянет от смущенья. А я ему вдогонку: «Вы даже и до брусники не додумались, хоть и изобрели парламент!»

Сколько ни читал я воспоминаний о детстве, у всех кроткая мать и строгий, умный отец: от отца мозг, от матери сердце. Так это, вероятно, полагается. У меня тоже мать была кроткая, то есть добрая и мягкая по характеру женщина, но и в отце не было ни капли строгости, а умными были оба; и мать, хоть и институтка, была достаточно образованной и всю жизнь по-своему училась и была отцу хорошей подругой. Я не помню ни одной ссоры между родителями, ни одного не только грубого слова, но даже слова упрека или недовольства, и я не знал в детстве, что бывает и иначе. У меня были три сестры и брат – все старше меня. Не помню, наказывали ли их за что-нибудь; меня наказали один раз, не знаю за что, но, вероятно, за что-нибудь исключительно серьезное, потому что наказанье было жесточайшим: я был лишен свободы. Слезы лились в три ручья: плакала мать, плакал я и плакала моя старшая любимая сестра, которую посадили вместе со мной в чулан, чтобы мне одному не было страшно. Слезы матери я объясняю тем, что ей не могла быть свойственна жестокость, и этот опыт наказания, почему-то придуманный, может быть вычитанный, был для нее невыносим и противен. Сестра плакала из сочувствия к матери, ко мне и к себе, – ей было уже лет тринадцать. А я плакал или потому, что не признавал себя виновным, или же предчувствуя,

что это первое лишение свободы будет повторяться всю мою жизнь. Вряд ли мое заключение продолжалось больше пяти минут, но это все равно – впечатление о пережитом осталось навсегда: четыре стены, за которыми идет жизнь, и я из этой жизни изъят; полное бессилие и страстное желание перестать существовать; отрицание права кого бы то ни было так поступать, пусть даже матери. Кажется, я бил ногами в дверь, и сестра не смела меня сдерживать; затем ослабел и впал в отчаяние. Много лет спустя я точно так же бил ногами и кулаками в дубовую дверь Таганской тюрьмы в Москве, выбил дверную форточку и оконные стекла, – когда с тюремного двора часовой выстрелил в окно в одного из заключенных. Я и теперь нередко просыпаюсь от удара кулаком в стену, когда мне снится тюрьма; а иногда, наоборот, проснувшись, добродушно смеюсь, потому что мне кажется, что таких случаев не бывает, что человека нельзя запереть против его воли, это только глупые рассказы, и в действительности не существует ни замков, ни границ, мы только шалим и подшучиваем друг над другом; в полусне я потягиваюсь, удобнее перекладываю подушку и опять засыпаю: просто лежал как-нибудь неудобно. В университете я изучал право – государственное, уголовное, гражданское, изучал философию права (циник профессор Зверев увлекательно говорил о свободе воли), хорошо сдавал экзамены, стал адвокатом. Не будь в моем детстве чулана, я мог бы сложить для себя из всех этих книжных кирпичей сносное жилище, пробив в нем окошечко с решеткой, и спокойно глядеть на мир, как смотрят многие отличные люди. Этого не случилось, и, когда муха бьется в стекло, я спешу отворить окно и помочь ей вылететь; и даже если это не муха, а комар, напившийся моей крови, – все равно! Не потому, что я такой милостивец, – я, может быть, прихлопну его ладонью прежде, чем он успеет меня укусить, жизни лишу, но свободы лишить не способен: свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя, и за комара! Моя мать напрасно плакала – я благословляю ее воспитательную ошибку: но хорошо, что она никогда ее больше не повторяла, могло случиться обратное.

Я завидую – хотя и не верю – тем, кто рассказывает о своей жизни в стройном порядке, год за годом, как будто справляясь по календарю и регистратору, – от мягких шелковых волосиков до щетины на щеках, от детской курточки до теплого халата и от коротких штанишек до той поры, когда они постепенно доходят до пят заглаженными макаронами и человек, теряя приятные иллюзии, вырастает в стоеросовый каитовский императив[2]. Моя жизнь не росла ни тополем, ни подсолнухом, а ветвилась кустом спиреи[3], начисто отмирая в старом побеге и заново вырастая от подземного корня. И потому ее картины не собраны в аккуратный альбом, а перепутаны во множестве папок, старых, новых, пыльных и обтертых тряпочкой. Не всегда разберусь, что пережито и что вычитано, что думал и видел мальчик – и что ему подбросил растратчик жизненного капитала. Ставлю в вазочку с водой букет нащипанных цветов и нарезанных зеленых веток, но, может быть, сирень я обломил студентом, когда влюбился в армянку, жившую на Никитской улице; а лютик сорван детской рукой, просто за то, что его лепестки блестящи и навощены солнцем, тогда как розу сам вывел из черенка в позапрошлом году. И в детских воспоминаниях такая же, конечно, путаница, которой мало помогает чисто зрительная память (образы, образы и образы!). Сквозь голубое стеклышко этой памяти я вижу себя трех-четырехлетним на дворе того же дома, под ручку с девочкой-однолеткой; мы идем важно, и наши лица серьезны: первый роман. Кто-нибудь научил нас так гулять, и я ощущал это как мой долг перед сла-

---

[2] Стоеросовый кантонский императив – авторское выражение. М. А. Осоргин соединяет идиоматический эпитет к словам «дурак, болван» и т. п. с центральным принципом основанной на понятии долга этики Иммануила Канта (1724–1804), родоначальника немецкой классической философии, выразив тем самым свое во многом ироническое отношение к существованию некоей всеобщей морали, будто бы определяющей практическое поведение людей.

[3] …Кустом спиреи – спирея латинское название повсеместно распространенной на Урале таволги, растения с белыми или розовыми (красными) цветками, собранными в своеобразные зонтики-метелки.

бым существом, нуждающимся в моей защите. Не игра, не забава, а предвидение трудности и сложности жизненного пути. Пока идешь прямо – все просто, но при поворотах мы топтались, сталкивались и наступали на ноги, а нельзя было терять устойчивость и уже нельзя разделиться. Ее называли моей невестой, и я принимал это со спокойной серьезностью. Затем она вдруг исчезает из памяти, не оставив даже имени, и двор делается ареной страсти: с мальчиками мы играем в бабки[4]. Язык, приспособленный только к домашнему, обогащается новыми словами – гнездами, битками, свинчатками, гвоздырем, – гораздо больше слов, чем знает даже мама. В начале игры мы конаемся, подкидывая бабки, и мой панок (боевая бабка) ложится жохом, конкой, плоцкой, ничкой, и от этого зависит, кому начинать. Играли в поджошку, в пристенок, в краснокудак, игры азартные, и мне случалось проигрываться начисто и стоять, гордо сдерживая слезы, и потом, вернувшись в дом без единого гнезда, чувствовать себя глубоко несчастным. Длинной грабелькой крупье забирает золото или костяшки, одним подбрасывая, других оставляя ни с чем. Бритая и будто бы равнодушная рожа ставит кучки на номера и на дюжины; потерявшая облик крашеная дама пытает красное и черное, брошен шарик на бесшумную вертушку, и вы следите за его потерявшим всякий смысл бегом, потому что последнее поставлено и бесславно уплыло и теперь только приходится играть в бесстрастие, чтобы затем, зевнув правдоподобнее или взглянув на часы, уйти с приличным спокойствием. Никакое небо не улыбнется, и не прольется ни золотой, ни серебряный дождь, и еще много сложностей, может быть униженье, гадкое до отвратительности,

---

[4] Играем в бабки – автор вспоминает терминологию дворовых игр своего детства: бабка – кость надкопытного сустава ноги у животных; гнездо – общее количество бабок на кону (партия игры) или у игрока; панок – бабка, которой бьют (отсюда гвоздырь – от «гвоздить», т. е. сильно бить), боевая битка, для тяжести заливалась свинцом (свинчатка); конаться – определять очередность участия в игре; поджошка (правильнее: поджежка), пристенок (от «пристенять»), краснокудак (иначе, по Далю, катушки) – разновидности игры в бабки.

но только потому, что судьба против вас, а сама страсть жива, свернулась комочком и рада в любую минуту снова расцвести и увлечь. Мать не догадывалась о моих переживаниях, иначе ее объял бы ужас; а я подкапливал для предстоящей писательской жизни понятие о взлетах, падениях, о страсти и катастрофе, о чете и нечете, о пресности маленьких и ровных мещанских благополучии. Нужно было прожить сто тысяч чертовских русских лет, какие прожило одним духом мое поколение, чтобы усомниться даже в игре, даже к ней стать равнодушным, хотя все же менее, чем ко всему другому. Но и теперь, если бы сумасшедший мир попросил меня устроить наконец его судьбу, как мне кажется лучшим, – я бы предложил ему сыграть в орла и решку: по крайней мере разом!

Но может быть, игорная страсть была у меня в крови. В какие времена, в какие исторические периоды Русь, Россия и СССР не горели игорной страстью: в кости и в зернь при Грозном[5], в фараон при Катерине[6], в банк при Александрах, в железку по обе стороны гражданского фронта в 18–20 годах, в шахматы и ныне и присно? Дома у нас по воскресеньям играли в херсонский вист, в преферанс и классический винт: отец, мать, Марья Павловна и барон Зальц, председатель суда, огромный человек, куривший сигары. Мать играла осторожно, отец безнадежно, Зальц плохо, Марья Павловна всегда на выигрыш и потому вечно бранилась. По углам ломберного стола стояли подсвечники, пепельницы, лежали очиненные мелки, а после роббера зеленое сукно вытиралось тряпочкой, намоченной в водке. Брат играл с сестрами в короли, нянька учила меня играть в зеваки. Если мать ремизилась, что случалось очень

---

[5] В… зернь при Грозном – по книге знатока исторического быта русского народа М. И. Пыляева «Старое житье» (СПб., 1897), «зернь небольшие косточки с белой и черной сторонами. Выигрыш определялся тем, какою стороною упадут они, будучи брошены».

[6] В фараон… – здесь и далее: банк, вист, преферанс, «железка», винт, подкидные дурачки, акулька, короли, зеваки и т. п. – азартные карточные игры.

редко, то весь стол пел: «Вот опять угобжена[7] – Андрей Федрыча жена!»; а когда у Зальца на руках предвиделся шлем, его лицо так наливалось кровью, что не требовалось и заявки. Играли с двенадцати часов дня, в четыре обедали (гусь всегда с яблоками, а индюшка с брусничным вареньем), а кончали к десяти вечера, когда детям пора было спать. Играли на малые копейки, вкладывая в игру страсть на миллионы. Играли во всем городе, в каждом доме, и в редкой квартире сквозь опущенные гардины не сквозили две свечки. В кухне Савельевна играла с дворником в подкидные дурачки и в акульку. Не было в те времена ни радио, ни кино, ни публичных лекций о путях России; сейчас все это есть – и играют в бридж, презренное искажение старого, благородного винта. Разница одна: в те времена не возводили отличной карточной забавы в науку и не писали о ней умных книг, а пики ласково называли пикандряшками. В лице этих ближайших друзей и партнеров моих родителей вторгался в наш домик внешний мир; сверх того, он появлялся под личиной портнихи, прачки, сапожника (готовой обуви не носили, да и была ли она?), почтальона и доктора Виноградова, который приглашался только в серьезных случаях, а обычные болезни мать лечила липовым цветом, клюквенным морсом, спермацетной мазью, паутиной, касторкой и каплями Иноземцева, справляясь в домашнем лечебнике. И были еще два явления, отражавшие для меня загадочность внешнего мира: водовоз и судебный курьер.

Водовоз был настоящим и изумительным зимой: летом мало замечался. В большие холода (а они доходили у нас до сорока градусов) в ворота въезжала обледенелая лошаденка, тащившая на обледенелых санях такую же бочку, а сбоку шла совершенно твердая, такая же ледяная, не вполне человеческая фигура в тулупе, которая от сильного удара должна бы разлететься со звоном на куски: но ноги и руки у человека почему-то продолжали двигаться. Его голова была обвязана тряпками поверх шапки, весь мех которой, как и борода человека и его усы, превратился

---

[7] Угобжена – от старорусского «угобжати» – в значении одарить, наделить.

в белого ежа, растопырившего колючие сосульки. Навстречу ему, тоже обвязанная, но мягким, выходила с ведром Савельевна, и тогда ледяной дед, не сгибаясь, влезал на сани и стеклянным огромным ковшом, не имевшим никакой формы, вычерпывал из верхнего стеклянного отверстия бочки густую воду со льдинками и звонко лил ее в принесенное Савельевной ведро, а она, одной рукой подобрав юбки, другую с ведром отставив крутой дугой, шершавила валенками по снегу к сеням, где стояла кадка для воды. Я, укутанный башлыком так, что только для глаз оставалась мохнатая белая щелочка, смотрел через эту щелочку на водовоза, и он, вместе с бочкой и с лошадью, казался мне единым целым, отлитым изо льда, так что было необъяснимо, как он может шевелиться. И еще смотрел на черные глаза лошади, тоже окруженные иголками, и на ее седую бороду, окатываемую двумя струями пара, выходившего из ноздрей. Между лошадью и человеком разница была только в том, что лошадь стояла на четырех ногах и у нее был хвост, облитый выплесками воды и похожий на расколотое березовое полено. Как ни был величествен водовоз, но никогда в обычных детских думах я не мечтал стать таким же; иное дело – судебный курьер, ежедневно приносивший отцу бумаги.

У курьера были светлые пуговицы и фуражка с цветным околышем. Он представился мне исключительно изящным человеком и очень важным. На кухне он не стоял, а садился и громко разговаривал с Савельевной, которая тоже его уважала. Няня здоровалась с ним за руку и звала его по имени и отчеству. Я спрашивал мать, почему курьер не приходит по воскресеньям играть в карты; она ответила как-то уклончиво и недостаточно понятно. Я знал, что мой отец, барон Зальц и курьер – это и называется судом, где делают арестантов. Но окончательно меня завоевал курьер в день моего рожденья, когда он доказал свою способность летать по воздуху. Отец меня любил и баловал – самого маленького из детей. К именинам, к рожденью, на Рождественскую елку я получал от него самые замечательные подарки, всегда те самые, о которых мечтал и проговаривался. Однажды перед моим рожденьем отец уехал на «сессию» – ку-

да-то в уезд кого-то судить; так бывало раза два в год, и его отсутствие продолжалось подолгу, так как поездки были дальними, на лошадях по огромной нашей губернии. И хотя я не был корыстным, все же день рожденья без отца терял большую долю приятности. И вот, помню, в самый день утром, часов в девять, меня вызвала Савельевна в кухню, где оказался отцовский курьер, вручивший мне большой пакет, будто бы только что привезенный им от моего отца. В пакете были подарки: альбом для рисования, краски, цветные карандаши. Было приятно, хотя я в этот раз больше мечтал о коньках и лобзике для выпиливания. Ровно через час опять пришел курьер с новым подарком от отца: это был лобзик, к нему пилки, дрель и тонкая ольховая доска. И это опять послал отец из своей «сессии». Еще через час у меня были молоток, стамеска, буравчик, подпилок и отвертка, все нашитое на картонном листе, и каждый раз курьер говорил, что «папенька кланяются и спрашивают, понравился ли подарок». Подарки мне очень понравились, но я не понимал, как же это так курьер все время ездит к отцу и обратно, а говорили, что это очень далеко, двое суток езды на санях. Я его об этом спросил, и он мне подтвердил, что на санях действительно суток двое, не меньше, но что он летает на крыльях прямым путем без объезда, как ворона, туда-обратно без минуты за час. И действительно, еще через час он привез мне деревянные коньки с острой железной полоской, такие, что можно их подвязывать под валенки и кататься – хочешь, по льду, а то и по снегу. Мать слов курьера не подтвердила – она никогда меня не обманывала, – но посоветовала мне спросить папу, когда он приедет, как он присылал мне подарки. В этот день мои руки были изрезаны, истыканы, провинчены и распилены; из большого пальца, особенно сильно пострадавшего, была сделана белая куколка, и катанье на коньках было отложено до завтра.

Не помню, была ли у меня игрушечная лошадь; вероятно, была. К сожалению, были оловянные солдатики – гнусная игра, развращающая детское сознание: с тем же успехом можно дарить виселицы и гильотинки. Но ничто не увлекало меня так, как плотничество, столярничество, выпиливание – всегда под

отцовским руководством; он же приучал меня к уходу за растениями, и, при тамошних морозах, у нас был дома устроен «зимний сад»: большая комната в два света, в ней пальмы, фикусы, лимоны, кактусы, много цветущих растений. Что привито в детстве, то остается на всю жизнь, и я не очень затруднился бы стать Робинзоном: ничего, по-моему, кроме удовольствия!

Я научился читать пяти лет и в семь сам прочитал изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу»[8]; автора не помню, но лучшей детской книжки не было никогда написано. Она меня завоевала и заполнила целиком мое детское сознание. Все это, конечно, хорошо, все эти благородные английские мальчики, лорды Фонтлерои[9], принцы и нищие, хижина дяди Тома, особенно твеновские Томы Сойеры и Геккельберри Финны, увлекательно, забавно, полезно, но все это появилось потом и было выдумкой, тогда как русский Робинзон со своим приятелем жил в лесу где-нибудь поблизости от нашего города или от деревни Загарья, а уж если по совести говорить, то это был я сам, хотя и до слез было жаль расстаться с матерью, отцом, няней, Савельевной, курьером и водовозом. Это я выстроил хижину и частокол от волков, и я сеял рожь, собирал и сушил грибы и делал зарубки в лесу на деревьях, отыскивая путь к жилым местам, хотя мне совсем не хотелось возвращаться домой. Какая красота в этом сожительстве с лесом, какое счастье

---

[8] Изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу» – речь идет о популярном в конце прошлого века произведении для детей О. Качулковой, выдержавшем несколько переизданий. В советское время книга не выходила очевидно, в силу «классового подхода»: заблудившиеся в лесу герои сверстники, но помещичий сын Сергей Александрович именуется Робинзоном, сын же дворовых Вася как бы и вовсе не берется в расчет, довольствуясь ролью своего рода дядьки при барчуке. Впрочем, сословные отношения не помешали зимовавшим в лесной хижине мальчишкам собирать ягоды и грибы, сеять рожь, отбиваться от волков, шить себе теплую одежду и т. д. (см. соответствующий пересказ в тексте Осоргина).

[9] Лорд Фонтлерой – герой одной из самых популярных детских книг рубежа веков «Маленький лорд Фонтлерой» (в иных изданиях – Фаунтлерой), принадлежащей перу американской писательницы Френсис Элизы Бёрнетт (1849–1924).

делать все своими руками, быть полновластным хозяином неизвестного мира, смело противостоять опасностям, создавать все из ничего! И когда мальчики выбрались из леса, где прожили, кажется, несколько лет, я им не завидовал: я бы предпочел там остаться навсегда. Я и сейчас отдал бы в обмен на их хибарку и их затерянность – пять частей света и в придачу библиотеку стариннейших книг, но с условием, чтобы никогда над моей головой не пролетал аэроплан и чтобы не проник в мою медвежью глушь даже обрывок газеты. И я, конечно, не возьму с собой мирового сыщика и сплетника радиоаппарата. Лишь одно непременное условие – моему Робинзону необходим русский северный лес, со снегом, медведем и рыжиками. Одна из моих временных хижин помещалась под отцовским письменным столом, но это было раньше, чем я прочитал замечательную книжку. Стол был приставлен к стене, так что получалось убежище, крытое и очень удобное. Ноги отца мне нисколько не мешали, и мои, вероятно, мешали ему гораздо больше. Ковер был мягким сиденьем, корзина с сорной бумагой – предметом жилой обстановки, а никаких дел и развлечений не требовалось: я просто мечтал. О чем? Дети мечтают иначе, чем взрослые. В их мечтах нет определенных, ясно обрисованных желаний, они не облекают их в единый образ будущих ощущений. Мечта ребенка – сложное из отзвуков пережитого его предками и дальних предчувствий будущего, она нереальна и по преимуществу музыкальна, слагаясь из шорохов, голосов, дыхания, донесшегося лая собаки, звякнувшего блюдечка в столовой, – все это ловится ухом и рождает гармонию и образы. Мы свои мысли думаем и придумываем – ребенок свои допускает и видит, сам им ничем не помогая. Большой письменный стол отца превращается в пещеру, размытую в скале вытекавшей из нее подземной речкой, и волосатый человек вползал в нее осторожно, не задев отцовской ноги и опасаясь натолкнуться на пещерного медведя; здесь он догладывал вчерашнюю кость убитого камнем утконоса и при первом извне донесшемся шорохе заползал вглубь, впотьмах пробираясь по руслу речки до каменного уступа, кончавшегося площадкой. Осколком ста-

лактита он рисовал на стене изображенье самого страшного зверя, и это было для него необходимостью, зовом искусства, а не поисками Бога, как объяснит потом его ублюдочный потомок. Журчанье речки было для него чудом музыки и сливалось с его сонным храпом. Исчезнув в прошлом, он переносился в будущее, над его головой шуршали страницы отцовских деловых писаний; от сорной корзины пахло окурками высыпанной в нее пепельницы. Стараясь не глядеть на подсудимого, свидетели хмуро утверждали, что слышали угрозы и видели, как парень шатался вокруг деревни, а тетка слышала и крик убиваемого, и, когда присяжные, недолго посовещавшись, представили свое заключение, арестанта увели обратно под свод тюремной камеры. Потом, миновав заставу с орлами, он шел в кандалах по широкому тракту, и по обе стороны стенами стоял хвойный лес. Наклонившись, отец спросил: «Ты что там делаешь, Мышка?» – но Мышка не отвечал. Сильно хлопнула дверь, шаги умолкли, лампочка, заключенная в клетку, еще качалась под потолком над койкой, хлопанье дверей в камерах все отдалялось, и Марк Твен, поля которого были исписаны карандашом, рассказал любознательному газетчику, что у него был брат-близнец, и их обоих купали в ванне, и один из них утонул, так что до сих пор не известно, который именно, он или его брат. Чиркнула спичка, осветив уголок пещеры, и ее своды раздвинулись, а наверху, в проломе базилики Константина[10], на римском Форуме, заголубело небо. Я сидел на камне и слушал звуки города; в этот час на Форуме туристов не бывает, они обедают по отелям, и это – лучший час для созерцаний и ухода в себя. Но сильно затекла согнутая нога, пришлось протянуть ее по ковру, а рука отца нащупала мою голову и потрепала за хохолок на затылке, который никакой помадой не примазывался. В Августеуме, тогда

[10] Базилика Константина – здесь: базилика Максенция, называемая так по имени затеявшего ее строительство римского императора Максенция М. Аврелия (окончена в 315 году Константином) – один из выдающихся памятников мировой архитектуры, среди прочих подобных сооружений (базиликой римляне называли торговый или судебный зал) выделялась своими исполинскими размерами.

еще не перестроенном, Сафонов[11], без дирижерской палочки, пальцами и кулаками управлял оркестром, который играл симфонию Чайковского, и я страдал, что слушаю ее в чужой стране. Когда же закрыл глаза, о борт парохода, шедшего с потушенными огнями, стали ударяться волны монотонной восточной музыкой, хотя мы шли к берегам Норвегии. Потом была крыша так же мерно стучавшего поезда, и это длится очень долго, мелькает много границ, пока, свернув из улицы в улицу, я не оказываюсь перед низеньким домом с мезонином и шестью окнами. Я прижимаю к стеклу нос, он сплющивается, и я вижу в комнате стол, за столом сидит и пишет человек с небольшой бородой. В комнате облака дыма от папиросы, тихо и уютно, и я опять вползаю на четвереньках и устраиваюсь под столом на излюбленном местечке, под защитой больших ног в спальных туфлях, чтобы обдумать впечатления поездки по многим странам, о которых никогда не слыхал, так как я очень маленький и мне предстоит пережить и отца, и мать, разливающую чай, и этот дом, и этот город, и эту страну, и даже эти строки. Тогда я поворачиваю валик пишущей машинки, вынимаю исписанную страницу, присоединяю ее к накопившейся стопочке и, встав, с утомленным удивлением смотрю на полки книг, на громоздкие словари, на свои большие руки и на дверь, в которую я выйду, и тогда все исчезнет. Что-то я позабыл, или что-то было упущено. Да, это – когда Марк Твен показал журналисту висевший на стене портрет мальчика, может быть его собственный, и сказал: «Бедный Вилли!»

Другой конец улицы, как я сказал, уходил к соборной площади на крутом берегу Камы. С этой рекой в моей памяти связано лучшее, что в жизни было, хотя та вода ушла в море и возвратиться не может. В половодье она на много верст заливала дали, и по торчавшим из воды верхушкам деревьев можно

---

[11] Сафонов – Василий Ильич Сафонов (1852–1918) – пианист, дирижер. Много гастролировал за рубежом, где выступал в лучших концертных залах. Обладая отточенной мануальной техникой, ввел в музыкальную практику дирижирование без дирижерской палочки.

было дойти до горизонта. Люди, дома, плоты становились маленькими и бессильными, случайным мусором, не попавшим в течение, а на небе не хотел остановиться ледоход облаков. Показав свое величие и свои возможности, вода начинала медленно сбывать, возвращаясь в берега, и на ней появлялись пароходы и лодки, на нашем берегу закипала жизнь для всех, кроме тех, кого привозили на тюремных баржах, выгружали на берег серыми стадами и выстраивали в поход – в сибирскую каторгу и ссылку. Их собирали по всей России, не согласных быть такими, как все, и не нарушать тысячи статей и параграфов, записанных в толстых книгах отцовской библиотеки. Из этих книг я делал иногда железную дорогу, раскладывая их в ряд по полу из комнаты в комнату длинной полосой и шагая по переплетам так, чтобы ни одного не пропустить. В молодости мой отец был деятельным участником судебных реформ, и в жестяной коробке, где лежали его прокуренные мундштуки и трубки, старые перочинные ножики, куски столярного клея, цепочки, кремни, отбившаяся от стада костяная шахматная королева, компас, лупа, шампанская пробка, медные гвоздики и еще много прекрасных вещей, можно было отыскать и два наградных креста с какими-то датами шестидесятых годов, и их он держал в футлярах и берег, тогда как его Анны и Станиславы[12] валялись в общей куче забавных и ненужных предметов. Он никогда не носил никаких орденов и называл их коровьими колокольчиками. Он был чиновником в провинции, потому что был отцом пятерых детей. У него было имение, которое он отдал старой матери и сестрам. По своим общественным взглядам он оставался шестидесятником-либералом, и в дни Александра Третьего это пресекало карьеру. Он всю жизнь рвался к земле, но не как к реальному, а как мы, нынешние, рвемся к возврату на родину, которая тем милее, чем недоступнее. То, что он рассказывал мне, маленькому мальчику, о наших уфимских землях,

[12] Его Анны и Станиславы – ордена Российской империи, уже низшие степени которых (4-я для ордена св. Анны и 3-я для ордена св. Станислава) давали право личного дворянства.

о степях, о Бугуруслане, о рыбной ловле, о перелете птиц, я даже не всегда и не целиком понимал и понял только взрослым, понял, что отец рассказывал это самому себе, будоража свои воспоминания и свою любовь к родной ему с детства природе. Когда я стал хорошо читать, – но еще до гимназии, – он подарил мне сочинения Аксакова[13], и посейчас моего любимого писателя, пред русским языком которого я благоговею. Это были мои первые настоящие большие книги – на смену «Робинзону в русском лесу». С Аксаковым мы были в родстве, и это, конечно, повышало мой интерес к «Багрову-внуку». И хотя я был сыном великой Камы, но с детства равнял с нею в святости имена Демы и Бугуруслана, конечно – несравнимых с ее величием. Дему я увидал в тот год, когда отец, выполнив свою мечту (а ведь все это было так трудно!), поехал на родину первый раз после многолетнего отсутствия и взял с собой меня. Мне хочется рассказать об этом дальше сейчас мысль связана Камой. Тут между нами может начаться взаимное непонимание, потому что я не могу представить себе большую реку иначе, как живым существом не нашего, чудесного измерения, пожалуй – как божеством. Тут и впечатления детства, и позднейшая тоска по сладким водам, и, конечно, самовзвинчивание: вместо простой беседы – пенье. Но я готов идти даже на насмешку – а любви не изменю. И вот Кама для меня как бы мать моего мира, и уж от нее все пошло, и реки меньшие, и почва, на которой я стою. Я допускаю, конечно, что существуют реки еще более великие, – как существуют у других семей свои предки; таковы сибирские

---

[13] Сочинения Аксакова – имеется в виду полное собрание сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), вышедшее в шести томах незадолго до описываемых событий (СПб., 1886), «Багров-внук» – «Детские годы Багрова-внука», автобиографическая повесть писателя, продолжение его «Семейной хроники» (с. 504). М. А. Осоргин, приходящийся родственником С. Т. Аксакову, высоко ценил писателя-классика, до конца своих дней считая его «единственным в своем роде и непревзойденным мастером русской речи». Многие сюжетные мотивировки осоргинского «Детства» прямо восходят к воспетой Аксаковым сердечной атмосфере родового гнезда, где человек и природа, дети и родители жили в гармонии и согласии.

реки для сибиряков. И это мои ближайшие родственники и мои единомышленники. И мое семя вычерпано с илом со дна реки Камы, и потому я северянин, блондин, всебожник, поэт, анархист и старовер. У нас, людей речных, иначе видят духовные очи; для других река – поверхность и линии берегов, а мы свою реку видим и вдаль, и вширь, и непременно вглубь, с илистым дном, с песком отмелей, с водорослями, раками, рыбами, тайной подводной жизни, с волной и гладью, прозрачностью и мутью, с облаками и их отражением, с плывущими плотами и судами и с накипью и щепочками, прибитыми к берегу. Воду, которую мы отпили и в которой до локтя мочили руку, перегнувшись за борт лодки, – мы эту воду потом пьем всю жизнь, куда бы нас судьба ни забросила, и подливаем ее для цвета, вкуса и сравнения и в море, и в горное озеро Неми близ Рима, и в священный Иордан, и в Миссисипи, и в светлый ручей, и в Тихий океан, и в Рейн, и в каждую европейскую лужу, если в ней отражается солнце. Это очень трудно объяснить и еще труднее понять, если иной человек сотворен иначе и водою не крещен. Ведь вот все живое вышло из океана, мы это знаем, а многие ли это могут чувствовать? Моя мистика связана с моей рекой, и потому я не могу просто рассказать, что вот таковой она, река, была для меня в детстве, а потом я купался в других водах, и вот остались воспоминания, – это все не то, тут ни при чем и возраст, и прожитая жизнь, и я посейчас покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлюпают камские струи, а небо надо мной шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву, и буду так плыть до самой моей, может быть и несуществующей, смерти. В этом чудесном слиянии со стихией я слышу все, что происходит в воде: веселый визг стрелками мелькающих уклеек, тяжелый храп столетней щуки, щелканье клешней темно-зеленого рака, хохот резвящихся пескарей, пересыпанье песчинок, – а надо мной, в высоте, степенный разговор кучевых облаков, караваном возвращающихся из ночной подзвездной прогулки. У моей лодочки было свое названье, я сам ее красил и смолил, она ничего не боялась: ни пароходных валов, ни пре-

бывания над бездной, ни окрика с надвинувшихся плотов, ни потери весел, – потому что я сам бросил их за борт, чтобы, испытывая судьбу, подгребаться к ним голыми руками, а в стальной воде мелькнул кольцом огромный угорь, похожий на змею. Верстами тремя выше по течению был дикий островок, на нем кустарник и много птиц, и в девять лет я мечтал о том же, о чем мечтаю сейчас, – о жизни без тени несвободы, об оазисе без прав и обязательств, о такой точке земли, где солнце заменяет часы и достаточно одного своего голоса. Вытащив на отмель легкую лодочку, я насквозь пронизывался счастьем Робинзона и шел заново исследовать свой мир, хотя знал его достаточно. На острове всегда было прохладно, даже в самый жаркий день, и было жутко до сладости, без города, без людей, без моста в прежнее, по которому можно было бы вернуться бегом под отчий кров, – от жилого меня отделяли речные бездны. Я приплывал сюда ради этой жути, которую нужно было преодолеть, глядя на жизнь незнакомых с нею птиц, купавшихся в нагретом песке. И когда я возвращался к оставленной лодке, чтобы плыть обратно, это было все равно что в горах подойти к самому краю пропасти, заглянуть в нее, потом зажмуриться и склониться над бездной. Столкнув лодку в воду, я не успевал лечь на дно, как прибрежные кусты уже прощально убегали, а птицы становились маленькими точками. Лежа навзничь, я плыл теперь по небу на самолете, – еще не было тогда никаких самолетов, кроме рассказанных в сказках. И я снижался только тогда, когда доходил до ушей шум города или стук пароходных колес. Вдруг став благоразумным мальчиком, я садился за весла и с середины нашей огромной реки, как с холма, скатывался к населенному и деловитому городскому берегу. Продернув цепь в кольцо и защелкнув висячий замок, я чувствовал большую усталость – от солнца, от ослепления водой, от впечатлений. Дорога на крутой берег. Первые шаги просты – как детство; круча начиналась дальше, и, чтобы не идти в обход, по дороге, я взбирался по тропинке, вытоптанной на подъеме ногами молодых. В глазах бельмами прыгали блестки воды, ладони щемило от весел. На самом верху ждала навозная пыль набережной: вот мы после

сказок вступаем в самую обыкновенную, рассказанную и затасканную жизнь. Здесь она несложна, но будет утомительнее в других городах и свяжется с ними в путаные узлы, будут знакомые и незнакомые улицы, люди разных одежд и языков, новые реки и притоки рек, остатки истории, заваленные новыми наслоениями событий, огненным вихрем будет сметать людей, и все это совершенно не нужно. В объезд крутизны тянется обоз ломовиков, увозя с пристаней чайные цыбики, свертки рогож, ящики с надписью: «Верх», «Осторожно»; мостовая булыжная, балаганы с золотой воблой, мылом, лаптями, сухарным квасом и кислыми щами; и есть и будут еще портовые набережные с вереницей кабачков, шатающимися матросами, афишами на чужих языках, гудящей толпой, запахом моря и пота, чередуются города севера и юга, белая и черная кожа, светлые и темные глаза, блеск магазинов, вывески банков, театры, человеческая икра в колясочках, газетные киоски, гарь войны, груды и завалы ничем не оправдываемых человеческих страданий, камерная музыка, деланная улыбка знаменитостей, сутолока быта, проповеди, международные выставки все это впереди, но без всякой передышки, сейчас же, за поворотом улицы провинциального русского города, спящего в передней культуры, пыльного, играющего в преферанс и винт с прикупкой и гвоздем. Ради всего этого неразумный мальчик расстался с лоном полноводной родной реки, с островком своих настоящих владений, с обществом птиц и чистейшим золотом незапыленного солнца. Дорога домой идет мимо почты, через тополевый театральный сад, минуя гимназию, которая уже в будущем году начнет свою дубильную работу: выколотит детское чувство, вобьет на смену латынь, таблицу умножения, растлит обрывками ученой лжи и пустит по миру нравственным нищим, рабом в колпаке царя природы. Ближайшей осенью я на приемном экзамене не сделаю в диктовке ни одной ошибки, и учитель русского языка, дохнув табаком и водкой, скажет: «Молодец, будешь писателем!» – кони взовьются, и колесница жизни помчится по ухабам, пока не окажется, что это были только розвальни, влекомые караковой клячей. Сразу, из трех великих

стихий: земли, воды и воздуха – в неверие серого и наскучившего быта. И, вычеркнув написанное наудачу будущее, опаленный солнцем, с порванными коленками, я возвращаюсь домой, и мать облегченно вздыхает: «Боюсь я этих твоих катаний!» Я говорю: «Знаешь, мама, я видел в воде огромного угря, совсем как змея!» И она ласково старается пригладить мой непокорный вихор. Скоро из суда вернется отец. Как хорошо, что всего остального еще не было!

Самое главное в моем детстве – мой первый дальний выезд, – не пытаюсь объяснить, почему в нем нет нужной отчетливости. Мне кажется, что мы дважды были с отцом в Уфе, на протяжении двух-трех лет; но иногда память уверяет меня, что он умер в первую поездку, едва увидев свой родной город. Все равно: он не повез меня в наше именье, о котором много мне рассказывал. И тогда, и теперь в моем представлении все эти любимые отцовские места стали картинами из детских лет «Багрова-внука», знакомыми мне до мелочей. Каждый сам создает свой рай, и мой был создан в полном согласии со страницами Аксакова, – но с прибавкой и своего, ранее облюбованного и возведенного в святость. В Каму влилась Белая, в Белую Дема, а к елям, пихтам и прозрачной аскетической лиственнице прибавились необычайно могучие буки и вязы оренбургского и уфимского края. Я так вчитался в «Семейную хронику», что не всегда мог сказать, что случилось со мною и что с тем мальчиком, родившимся при Екатерине, который лишь на 65-м году жизни стал писателем и день за днем записал впечатления раннего детства. Мой отец казался мне милым добряком, женатым на блестящей уфимской красавице, молчаливо страдавшей в степной глуши и давшей мне жизнь. С ними я, еще ни разу не побывав дальше деревни Загарье, уже давно мысленно совершил все дальние поездки из симбирской вотчины в угодья и приволья башкирцев Уфимского наместничества, из Казани в новое Багрово, с переправой на «посуде» через Каму повыше Щурана, лошадями на Татарский Байтуган. Я помнил имена местечек, где такой же, как я, мальчик гуливал или уживал рыбу, – Антошкины мостки, Малую и Большую

Урему, Потаенный колок и Кивацкий пруд; и когда я действительно увидал Уфу и закинул удочку в воды Демы, все это было мне давно знакомым и родным, и я не удивился, когда отец повез меня показать своим родственникам и их фамилии оказались хорошо мне известными по аксаковской книге. Мне особенно было памятно и приятно, когда погладили меня по голове старики Нагаткины, потомки тех, которые с такой лаской отнеслись ко всеми затравленной матери Багрова-внука, – но мне они, конечно, казались теми самыми, все еще живыми и по-прежнему добрыми, а когда я вел под ручку к столу крошечную, сгорбленную старостью мою родную бабушку, родом Осоргину, фамилия которой позже присоединилась к моей родовой, – я помнил, на каких страницах любимой книги встречалась мне эта фамилия, как и фамилия моего отца.

По Каме мы плыли ранней весной, когда с двух берегов доносились соловьиные хоры, – но и в хоре каждый соловей пел свое и для себя. В Пьяном Бору, где пересадка на Белую, пробыли сутки на пристани, ожидая бельский пароход. Здесь, опять как «тот мальчик», я с увлечением ловил рыбу, бросавшуюся целой толпой на едва задевшую поверхность воды наживку; передо мной на много верст расстилалась гладь изумительной Камы, а на крутом берегу гудел бор. На реке Белой даже в эту пору были песчаные перекаты, и, пока облегчали и перетаскивали пароход, мы с отцом проходили целые версты берегом, где я десятком детских объятий вымерял толщину древесных стволов, у нас, в лесах хвойных, таких гигантов не было. В Уфе нас ждала цветущая сирень, которою был напоен воздух по течению реки. Отец был счастлив и показывал мне, потерявшемуся от новых впечатлений, все, что он любил и знал, и теперь все это я также знал и любил по-настоящему, а не только по книжке. Но все-таки в детском моем сознании так спутались картины этого первого путешествия, что я вижу себя только урывками, не отдавая себе полного отчета, в какой приезд я видел это и этих и в какой – то и тех. Мелькнул и исчез старый дом моей бабушки, где мы, вероятно, жили, и на смену ему вырос дом новый, где жили семьи моих теток и где отец, простудившийся

еще в дороге, скончался так внезапно, что вызванная телеграммой моя мать прямо с парохода проехала на кладбище. Тут в страницы моей жизни впутываются черные невнятные строки: сначала шепот и хожденье на цыпочках, потом в большой комнате постель, около которой я сижу на стуле с книгой, не зная о важности подошедшей минуты, потом кто-то говорит мне на ухо: «Оставь книгу, посмотри!» – и мои глаза встречаются с глазами отца, с последним, что в нем осталось живого, и дальше память моя опять теряется в мути и кошмаре тех дней. Я просыпаюсь и вижу, как на постели, уже пустой и накрытой одеялом, вдруг приподымается и садится белая фигура, я кричу от страха, и из соседней комнаты вбегает моя кузина, – постель снова пуста, а из отворенной двери доносится монотонное чтение. Я опять засыпаю, и наутро комнаты наполняются людьми, мне незнакомыми, много людей на обширном дворе, и каждый человек подходит ко мне, гладит по голове или что-то говорит, и я знаю, что это потому, что умер мой отец, но мое горе и страх мой подавлены торжественностью, так что я уже не мальчик, а взрослый человек, центр общего внимания, и это заставляет меня держаться с некоторой важностью. Подходит ко мне седой строгий человек, подает мне руку и говорит, что он знал моего покойного отца еще маленьким, как вот я сейчас, и что если моя мать и сам я согласимся (он говорит со мной на «вы»), то он готов быть мне отцом, дедом и опекуном. Я расшаркиваюсь, как меня учили, и мне кажется, что все это из книжки, во всяком случае, не совсем настоящее, как и все, что кругом происходит. Того же странного старого человека я вижу позже в разговоре с моей матерью: она не может удержать слез и только отрицательно качает головой, а он тихо ее убеждает и смотрит очень добрыми глазами. Потом мать обнимает меня и громко спрашивает: «Разве ты хотел бы расстаться со мной? Ты хотел бы быть богатым?» Я рыдаю, жмусь к матери и ненавижу доброго человека и в то же время продолжаю думать, что это из книги, которую я читал, – но не помню из какой, и тогда старик почтительно целует матери руку и уходит. Все это обрывки памяти, которая проясняется только с тех дней, когда я оказыва-

юсь в кругу множества моих кузин и кузенов, молодых и веселых, школьников и студентов, гораздо старше меня и все-таки моих близких друзей. Мать уехала, оставив меня в Уфе до конца лета. Я кажусь себе гораздо более взрослым, и моя летняя жизнь проходит между чтением и веселыми прогулками пешком и на лодках. И вот тут с необычайной ясностью я вижу огромный костер на берегу реки Демы – ночь, огненные дуги бросаемых с берега в темную воду головешек, хоровое пенье, смех и прекрасное лицо кузины Манечки, в которую я откровенно влюблен и от которой не отхожу ни на шаг. У нее голубые глаза и прекрасные каштановые шелковые волосы. И вообще я счастлив.

Такой, то жуткой, то сладкой и радостной, мути и яви полны мои уфимские воспоминанья, в которых я никогда не разберусь, да и не хочу разбираться. Полудействительные, они вразброд, цветными пятнами развешаны в картинной галерее, куда я иногда убегаю от ясных и разлинованных, аккуратненьких записей взрослой жизни. Они – как цветные шарики, подбрасываемые опытной рукой и мелькающие в воздухе скрещением забавных дуг, как переводные картинки, наляпанные в детском альбоме по системе, понятной только собственнику. Я не люблю калейдоскопа: в нем стеклышки располагаются с обязательством строгой симметрии; много приятнее коробка с разнообразными по величине и окраске, по ободкам, по количеству дырок пуговицами, костяными и перламутровыми, железными и обтянутыми материей, пухлым шариком и сплющенной монеткой; и каждая пуговица – часть портрета того, на чьей одежде она была или будет пришита. Река Белая – действительно белая, хотя и течет в зеленых берегах. А на Деме, в самом устье, летом застревают в песке и тине огромные коряги; в лунную ночь мы высаживались на них с лодки и располагались в живописных группах – по шесть-семь человек на одной коряге. Отмахнув рукой эту ночную живопись, я в узкой и черной лодке с уютным балдахином подъезжаю к разукрашенной цветными фонариками небольшой барке, в центре которой стоит пианино, и между пьяцеттой и островом Св. Георгия слушаю затасканную, но в этой

обстановке всегда свежую серенатину, пока гондольер вертит свою сигаретку; потом мы отплываем от слишком сладких звуков в глубины и ответвления большого венецианского канала, потому что сегодня хочется чувствовать себя беззаботными туристами. Поезд пролетает над блюдами и глубокими чашками норвежских сладких вод, и горный поток сталкивает в них завернутые в кружевную пену стволы строевого леса трубочки со сливками в воде червленой стали. По лесному озеру в верховьях Камы мы стараемся не плескать громко веслами лодки, а за нами тянется крепкая бечева с оловянной ложкой, к которой припаян стальной крючок, и схватившая его непуганая рыба дергает с такой силой, что лодка вздрагивает от удара. Последними взмахами покрасневших от холодной натуги рук мы кидаем тело к скалистому берегу, к знакомому уступу, который то выныривает, то скрывается под водой, и, если удалось схватиться, прибой уже не сбросит обратно в волны, а и сбросит – не беда, только понадобятся еще усилия в игре голубыми водами Средиземного моря, ставшего приветливым после стольких лет знакомства. И вот, отфыркиваясь и стараясь откинуть налипшие на глаза волосы, я карабкаюсь на бережок узкой, но глубокой речонки в Звенигородском уезде, таща пойманную щуку за леску, которую пришлось отцепить от путаницы корней на самом дне, – а ради этого как не броситься в воду уже взрослому человеку во всем рыболовном наряде, дорожа минутой и добычей. Это не я швыряюсь – это жизнь швыряется картинами, навороченными ею, чтобы не о чем было жалеть, когда часы начнут бить полночь и склонится фитиль оплывшей свечи. Он всегда со мной, альбом памяти, образов и выдумок. В окно его первого прочного листа вставлен дагерротип на серебряной пластинке, но я не могу разобрать черт лица и не помню, кто на нем изображен. Дальше прозрачной бумагой заклеен карандашный портрет деда по отцу, бритого, в татарской ермолке, халате и с длинным чубуком, – может быть, потому я и люблю татар, что считал татарином своего деда, хотя он был стариннейшего русского рода, гораздо более старого, чем бабушкин. Еще дальше – ряд выцветших фотографий, много раз показанных мне в дет-

стве с непременным повторением: «Это папа, а это папа с мамой, а это мамины папа и мама». На пластинке слоновой кости изображена красками девочка с перетянутой талией, и тот же самый портрет я вижу на обложке книги, изданной о «вещах человека»[14] и написанной там же и тою же рукой, которая пишет сейчас эти строки. Постепенно свежеет бумага фотографий и лица становятся яснее, кринолины сменяются турнюрами и плечевыми буфами, мужские галстуки бантом вытягиваются и прячут концы за вырез жилета, появляются мундирчики школьников и фартучки гимназисток, попадаются чаще люди в очках и пенсне, снятые не в рост, как старались сниматься прежде, а лишь по пояс, и далекое прошлое через вчерашнее делается близким и настоящим. И по мере того как я листаю альбом (или десять, или сто альбомов), мне делается дороже прошлое, в котором так путаются лица и так много глубоких провалов, – чем безупречные отметины настоящего, рассевшегося барином на примятых и намученных плечах. Я перевожу стрелку часов на вчерашний полдень, думая этим обмануть время. Я перестал любить жизнь, – это звучит трагически и актерски, но я действительно перестал ее любить, и причин слишком много, чтобы их перечислять; главная из них – необратимость детских моих воспоминаний к имеющим уши слышать: двери на засове и обиты войлоком. Но я слишком горд, чтобы подавать жалобу в тюремное окошко. В моих детских воспоминаниях отец и мать заслоняют сестер и брата; вероятно, потому, что я был на десять лет моложе брата и на четыре – младшей сестры; между мною и ими была пустота, образовавшаяся смертью двухлетнего Вани, и я был слишком маленьким для их компании. Многое соединило нас позже, уже в годы взрослости, но и это оборвалось на перекрестке дорог: моя увела меня на запад. Я помню в детстве только крашеный пол нашей залы, посыпанный тальком: два раза в зиму у нас собиралась гимназическая молодежь. Но я лишь болтался под ногa-

[14] Книги, изданной о «вещах человека»… – по названию сборника прозы М. А. Осоргина, вышедшего в парижском издательстве «Родник» (1929).

ми – меня укладывали рано спать. Ни тени зависти к старшим – мой мир был особым и чуждым шума: книжки, столярные и слесарные инструменты, пересадка растений под руководством отца, строительство замков ребяческой фантазии. Только одно было общим для нас всех: мелодия пенья. Отец, если не был занят своими бумагами, измышлял какое-нибудь рукоделье (иногда сложное: мы с ним заново обивали мебель, делали рамки для картин, чинили замки, мастерили резные шкапчики) и неизменно что-нибудь напевал. Мать, занимаясь хозяйством, приятным голосом пела романсы, иногда по-польски (она воспитывалась в Варшаве). Брат был по-настоящему музыкален, немного играл на рояле и обладал прекрасным баритоном при абсолютном слухе; любили петь и сестры по преимуществу что-нибудь чувствительное или русские песни. Не отставал и я, легко схватывая мотивы из опер или старинные песни, теперь уже всеми забытые, про Ваньку-ключника[15], злого разлучника, или про то, как «прогремела труба, повалила толпа» и как палач, блеснув топором, показал толпе «ту головушку неповинную», – не знаю, почему у нас в таком ходу были песни арестантские и революционные восьмидесятых годов; может быть, потому, что в нашем городе жило немало ссыльных и от него начинался этапный сибирский путь. Мой репертуар вольных – как говорили тогда – песен пополнился краткой уфимской жизнью, где мои старшие кузины были стрижеными и на берегу Демы распевались студенческие песни; там я впервые был поражен перекличкой «Слушай!» в знаменитой тюремной песне «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна»[16] – ее любил напевать и мой отец, чиновник и член уголовного суда. Я ду-

---

[15] Про Ваньку-ключника – популярная в народе песенная баллада, известная во множестве вариантов. Долгое время была запрещенной, так как «затрагивала» влиятельную аристократическую фамилию: Ванька-ключник в песне назван любовником княгини Волконской, повешенным по приказу князя. «Злым разлучником» герой песни стал в тексте Всеволода Владимировича Крестовского (1840–1895).

[16] «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна» строки из песни «Слушай!» на стихи Ивана Ивановича Гольц-Миллера (1842–1871).

маю, что не словами, а звуками была вспахана во мне почва для будущих благодатных всходов (благодатных – это совсем серьезно!), вызревших позже в тюрьмах, ссылках, при всех режимах и всех обстоятельствах, – и так до сего дня; как обидно, что сей день – уже закатный! Если бы можно было повторять путь пройденный, я повторил бы его без колебаний, не потому, что он хорош, а потому, что иного перед нами не было и неизбежностью своей он до конца оправдан. Голосом старческим певала и моя няня Евдокия Петровна – про стоявшую во поле бе-березоньку и про не белы-то снеги; только на свой лад и своим мотивом. Отчасти эта ее музыкальность была причиной того, что я, еще четырехлетним, собирался на ней жениться, но получил отказ и ломтик арбуза с правом проглотить косточки. В третьем классе гимназии я завел гармонию и играл на ней как виртуоз, с таким дрожанием звуков, что младшая сестра даже плакала: она очень любила вальс «Невозвратное время». Но меня не учили музыке, так как несколько хромала моя латынь.

Время, конечно, невозвратное, но плакать не о чем. Внезапно, по смерти отца, наша семейная жизнь свернулась: исчез зимний сад, комнаты стали маленькими. Брат был казанским студентом, две сестры вышли замуж и уехали. Их жизни не входят в эту повесть о самом себе. Не связанный хроникой, я крутым поворотом возвращаюсь к первым дням гимназической учебы, к фуражке с огромной тульей и гербом, к ранцу с бело-желтыми разводами то ли оленьей, то ли коровьей стриженой шкуры, к длинному, на рост, пальто, в полах которого путались ноги, к грубой шерсти башлыку, который у маленьких напяливался на фуражку, у старших, в сложенном виде, защищал только уши, а у семиклассных и восьмиклассных стариков заменялся белым, кокетливым и красивым, треугольно опускавшимся на спину, а концы висели спереди свободно – немалая вольность. Ноги зимой в глубоких резиновых калошах, хотя и в них пальцы зябли, не то что в валенках, не полагавшихся по форме. И хотя нас рядили солдатиками – сальной пуговкой, как звали нас уличные мальчики, – и хотя обучали военной гимнастике и сдваиванью рядов, но зато не соблазняли сознания

позднейшей бойскаутской дребеденью, нашивками, знаменами, дисциплиной и девизом «Будь готов», – может быть, просто по глубоко штатской провинциальной лени. Все мы, школьники, наши родители, наши учителя, – вся страна знала, что гимназия есть необходимое зло, что в ней усердно преподается то, что не нужно и не будет нужно, и опускает все то, что может понадобиться в жизни. Мы обламывали зубы о латинские и греческие орехи, склоняли, спрягали, учили назубок исключения, старались запомнить, сколько легионов отправлено Цезарем туда-то и как протекали анабазис и катабазис[17]; мы навсегда отпечатывали в мозгу пифагоровы штаны, генеалогию прародителей, призвание варягов, происшествия в семействе Романовых, мысы, носы, полуострова и проливы, стрекозу и муравья, с одинаковым усердием затверживали «андра мой эннепе», «не лЬпо ли ны бяшетъ»[18] и слова с буквой ять, – но, окруженные почти девственными лесами, не обязывались отличать злака от овощей и слизняков от млекопитающих: естествознание было изъято из гимназической программы, за исключением легенды о земных тварях, попарно втиснутых Ноем в его достопамятной ковчег. В нашем «физическом кабинете», где мне довелось побывать лишь раз, вращался стеклянный круг перед площадкой, сев на которую можно было ощущать, как дыбом подымаются на голове волосы: граница наших физических познаний. В изучении российской словесности мы были прочно прихлопнуты крышкой гоголевской Коробочки, зная по слухам, что Гончарова звали Иваном Александровичем, а Кольцов был прасолом. Затем нас отправляли по университетам. Но было во всем этом одно преимущество: полное сознание, что гимназия не способна ничему научить и что поэтому каждый, не желающий остаться неучем, должен учиться сам, не считаясь с про-

---

[17] Анабазис и катабазис – отглагольные существительные (с древне-греч.), обозначающие, соответственно, восхождение, подъем и схождение, спуск.

[18] «Андра мой эннепе» – начальные слова поэмы Гомера «Одиссея», данные в русской транскрипции. «Не лЬпо ли ны бяшетъ» – начало «Слова о полку Игореве».

граммами и не обращаясь за советом к протухшим и спившимся с круга учителям. А когда к нам ненароком попал в учителя греческого языка будущий профессор истории Николай Рожков, выражавшийся членораздельно, мы приняли карельскую березу марксистского лба за подлинные сократовы шишки, и немалая часть его учеников уверовала в прусского бородатого бога. Мне было не трудно учиться; поступая в первый класс гимназии, я уже знал начала латинской грамматики, так как был подготовлен матерью. Но к одному не мог быть подготовленным в семье: к бессмыслице гимназического преподавания, и она была для меня источником великих страданий. Я легко решал арифметические задачи с многозначными числами, но столбенел и терялся, если в их условии говорилось, например, о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин и 3 вершка по 4 рубля 81 копейке за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на овес, приплатив 11 копеек, сколько пудов овса он получил, если пуд стоит 53 рубля 20 копеек? Я приставал к матери с вопросами, зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на юбку? Она старалась убедить меня, что это только так, для трудности, и что крестьянин тут ни при чем, а нужно просто вычесть кафтан и юбку из куска, помножить на стоимость аршина и разделить на стоимость овса, – но я так не мог, мне мешало лицо крестьянина, хозяина нашей дачи в деревне Загарье, зимой носившего меховую шапку, и я не мог представить себе его жену в такой огромной шелковой юбке. Когда же мы заучивали наизусть – Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, Иуда роди Фареса и Зару от Фамари, – никак я не мог проникнуться святостью Евангелия от Матфея, так как невольно представлял себе нашу кошку, котят которой дворник трижды в год уносил топить. Я был очень способным дома, когда мать готовила меня к поступлению в гимназию, тем более что присутствовал при ее уроках со старшими детьми, многое запоминал и после воспринимал легко; но гимназия не только убивала всякую жажду знания, но и развивала тупость восприятий. Помню,

как однажды, не одолев какой-то юбки в 200 аршин и зубрежки грамматических исключений, я почувствовал себя глубоко несчастным, заживо замученным и осужденным на гибель человечком, лег на пол, разрыдался и так заснул. Я лежал в той яме, где арестант высосал корову, и боялся поднять голову, так как меня преследовали Иуда и братья его и хотели заставить писать мелом на черной доске, и это были древляне, которые привязали к верхушкам деревьев Святополка Окаянного за то, что он не решил задачи, и теперь хотели так же разорвать и меня. Лежать было очень холодно, лодку качало, под голову забралась скользкая рыба, пальцы мои были перемазаны в чернилах, и я стал тоненьким голосом звать мать, а громче крикнуть никак не мог, что-то застряло в горле. Вдруг стало хорошо, точно пригрело солнцем; мать подняла меня, довела до постели, и я опять заснул крепко, сладко и без страшных снов. После этого несколько дней меня не пускали в гимназию и не заставляли учить уроки, – и этих дней было достаточно, чтобы вдруг все стало гораздо проще, Фарес и Зара прочно утвердились в памяти, а Святая Ольга мне даже понравилась своей замечательной хитростью, и я перешел во второй класс с похвальным листом. Вглядываясь в даль жизни, я вижу себя в Неаполе очень жарким летом, в дрянном отеле. Я приехал по делу, но еще в поезде почувствовал страшную головную боль, свалившую меня в постель. Со мной не было никаких лекарств, и не было сил поднять голову, встать и позвонить. Мигрень дошла до такой степени, что я, навалив на голову подушку, выгнул тело, напрягся и старался воткнуть голову в твердый тюфяк. Думать ни о чем не мог, но весь был проникнут ощущением своего одиночества и грядущей гибели, глухо рычал в подушки и боялся переменить положение. Потом на какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, боль сразу ослабела и еще через несколько минут совсем прошла. Я встал с осторожностью и боязнью, увидал, что за окном уже темнеет, почувствовал голод, – и этот вечер в Неаполе был самым приятным и очаровательным за мое долгое знакомство с нелепейшим из итальянских городов. Было поздно идти по делам, знакомых не было; я поднялся

фуникулером на Вомеро, дошел до монастыря Камальдоли и смотрел оттуда на Неаполитанский залив и на город. Я совсем не был одинок, всюду горели огни, зажженные людьми, меня окружал живой мир необыкновенной красоты, и уже в полной темноте я угадывал знакомые очертания берегов, городков и двугорбого Везувия. Радостно изумляясь своему блаженному состоянию, я уголком мозга вспомнил такой же странный переход от ужаса и кошмара к покою и ясности – это было связано с муками гимназистика и как будто пригрезившейся материнской лаской. И когда в Москве я лежал на заплеванном полу Всероссийской Чека, в так называемой конторе Аванесова, ожидая отвода для меня и других более уютного помещения, была минута, когда мне хотелось умереть от отвращения к глупому обезьяньему миру; увидав доску, лежавшую под нарами, на которых мне не нашлось места, я подложил ее под голову, заснул, а через полчаса уже улыбался, когда дородный сытый латыш, разводивший нас по камерам, на ломаном языке назвал «несознательными буржуями» меня и моего товарища, поделивших годы своей молодости между тюрьмами и эмиграцией. Нужно только немножко отдыха, немножко отдыха, – и опять можно жить и даже смеяться. Если бы, падая с отвесной скалы, мне удалось уцепиться за ветвь дерева, над ней нависшего, и тем отсрочить гибель, – я бы, думается, нашел время полюбоваться прекрасным видом на окрестности. Почему же жизнь не дает нам больше таких передышек? К концу учебного года, утомленные нелепостями и зубрежкой слов, имен, правил и формул, пропитанные дрянным воздухом гимназии, мы держали еще экзамены, проигрывая весну и лучшее молодое солнце; и все же наступал наконец день, когда Малинины, Буренины и Евтушевские[19], негодуя и раскорячившись, летели под стол или рвались в клочья и мы кубарями скатывались с обрыва к реке и докрасна обжигались на беспощадном солнце. Только три ме-

---

[19] Малинины, Буренины и Евтушевские – А. Ф. Малинин, К. Б. Буренин, В. А. Евтушевский – авторы тогдашних гимназических учебников и сборников задач по арифметике, алгебре и физике.

сяца каникул и были подлинной жизнью; остальное время – бездарным и злым издевательством над маленькими будущими людьми. Поразительная страна! Ее тюрьмы были образцовыми школами, рассадниками не только сознательности, но и образования; ее средние школы – во всяком случае в провинции – были подлинными тюрьмами, с восьмиклассной пенитенциарной системой. Какое плодородие почвы и какая крепость духа потребовались, чтобы эта страна, вздрогнув и потряся весь мир, не надорвала себе сердца!

Я не присягал на верность последовательной строчке, не будучи ни отрывным календарем, ни зингеровской машинкой. Наш мозг не фильм, а светочувствительный песок, и я, взяв горсть, пропускаю его струйки между пальцами. Вспомните, что вы на днях видели во сне: школьную парту, невыученный урок. Я видел речку Егошиху, хотя она, может быть, давно высохла, и только линия смородиновых кустов напоминает, что тут была влага. Мы были усталыми старичками на уроках географии, мы стали малыми детьми в политических спорах. Детство не возраст, а настроение. После десяти лет блужданий по пятнадцати странам Европы я подъезжал на пароходе к городу, в котором родился. У самого города через Каму был переброшен оскорбительный мост. Там, где была рощица, а после – фабрика, из казарменных зданий вырос университет, на открытие которого я приехал. Молодые люди подбелили виски и важничали ревматизмом. Говоривший приветственную речь столичный профессор повернулся на каблуках к всемилостивейшему портрету[20], волею которого вспыхнуло на крутом берегу высокое просвещение; впрочем, он воздал честь и местному богачу[21], давшему на благое дело свой дом и свои деньги, как

[20] Профессор повернулся… к всемилостивейшему портрету – выступление с приветственной речью при открытии в Перми университета товарища министра просвещения В. Т. Шевлякова (доктора зоологии) отличалось, насколько можно судить по отчету в прессе (см.: Пермская земская неделя. 1916. № 39. 1 окт.), официозным характером и сопровождалось троекратным исполнением гимна «Боже, Царя храни!»

[21] Воздал честь и местному богачу – речь идет о Николае Васильевиче

раньше он охотно жертвовал на организацию революционного террора; я знавал его молодым – теперь он был сед, но очень бодр. Он не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай, но ему нравилась сибирская вольность: через хребет Урала ее избытки перекатывались сюда. Старый терапевт, лечивший и меня в раннем детстве, показал мне сокровища археологического музея, собранные его любовью и страданием: и сассанидские блюда, и клыки мамонта. С земским деятелем мы вспомнили, как чествовали в клубе заезжего Михайловского, которого никто из чествовавших никогда не читал, но это не препятствовало уважению: человека преследовали, значит, его нужно было почтить. Университет был открыт – тому доказательство кучка безусых студентов, еще не вкусивших храма науки. И тогда я отправился бродить по городу, улиц которого не узнавал, но отмечал в памяти низенькие, еще не перестроенные дома. Тут, против театра, на площади, раньше казавшейся мне огромной, устраивался зимой каток. Губы гарнизонных музыкантов прилипали на морозе к медным трубам, у мальчиков, бегавших «гигантским шагом», свистал пар из обеих ноздрей. Я тоже умел выделывать на льду фигуры и однажды шлепнулся прямо к ее ногам: возможно, что ее звали Женей или Катенькой, точность уже не важна, если ее внук не хуже меня скользит по льду на американских коньках. Но сейчас было лето, и пух тополей устилал дорожки сада снегом, мягким и теплым. Этот пух я собирал в кучки и горки, гуляя с мамой или с няней; потом я размахивал его ногами, спеша с удочками через сад, мимо почты, мимо балаганов с золотой воблой, по крутой тропинке на берег, где у пристани привязана моя лодочка. Потом, фланируя без цели, празднуя безделье, я внезапно остановился посреди пустынной аллеи и понял, что это и есть счастье: на мне была совершенно новая, не тронутая солнцем фуражка студента. Тополя разрослись и стали огромными, аллеи сузились, люди перестали быть знакомыми, а я был несколько слишком наряден, в черной паре, сшитой в Лондоне и пригодившейся к тор-

Мешкове, купце-миллионере, общественном деятеле и меценате.

жеству открытия храма просвещения. Европеец вернулся в захолустье. Вечером я был зван на пельмени в тот же самый домик на Екатерининской улице, к двум старым девам, моим сверстницам по гимназическим годам, – насквозь пронизанный поэзией родины. Я присел на скамейку, и мимо меня прошел очень серьезный и деловитый мальчик с замотанными удочками. Жизнь продолжается.

Отходя от пристани, пароход гудит совершенно так же, как и в те года. Он делает крутой поворот, так как стоял носом против течения. Берега и город, в котором я никого не оставляю, быстро пробегают большим обратным кругом, и отрывистым сердитым гудком мы предупреждаем недальнюю рыбачью лодочку; я всегда считал за честь такой сигнал, отгребался небрежно и кричал: «Ладно, проедешь, места много!» – а по проходе повертывался носом к крутым валам: лучшие качели в мире! Как бы мне найти тот прекрасный тон равнодушия и опыта, которым я, войдя в рубку, заказывал стерлядь кольчиком и в ожидании читал литографированные лекции по римскому праву? А в Пьяном Бору – две дюжины раков. Дальше – перекаты реки Белой, – но не будет ни духа сирени, ни сладости липового цвета, – не та пора. Мне предстоят деловые визиты и доклад об европейских военных настроениях. Еще ждет могила отца, которой я не найду, как не нашел могилы матери. Ко мне подойдет незнакомый человек и скажет: «Вы помните свою кузину Манечку? Я ее муж». Я помню очень молодую девушку, при которой я состоял рыцарем! «Приходите к нам сегодня пообедать». Я приехал из Рима через десять и более столиц, воюющих и нейтральных, и вот я наконец не на шутку взволнован.

И вдруг все кружится, взлетает и падает; вместе со всеми кружусь и падаю я. По крыше дома в Чернышевском переулке с противной монотонностью бьет пулемет. Когда наконец выходят газеты, в списке народных комиссаров уфимское имя[22]. В

[22] В списке народных комиссаров – уфимское имя – речь идет о первом наркомпроде Александре Дмитриевиче Цюрупе (1870–1928), с которым

детских воспоминаниях «кузина Манечка» освежена недавней уфимской встречей, но московской встречи я не ищу; и, однако, Москва не Тихий океан, в котором носятся щепочки, и мы встретились. Я ей сказал: «Нет, я к вам не приду, хотя всегда рад тебя видеть». Она была уже пожилой, но такой же красивой женщиной, как была всегда. Я пояснил: «Помнишь, когда я был малышом гимназистом и приезжал в Уфу, вы, старшие, брали меня с собой на Дему, где мы раскладывали костры и пели песни. Однажды позвали к костру старика башкира, накормили его, и он пел нам свою песню. У меня на давнее прошлое такая хорошая память, что я не только мог бы напеть тебе мотив, но и слова помню, башкирские и совершенно мне непонятные. Он пел, зажмурив глаза, а в паузах широко и как-то удивленно открывал их. И был кто-то, кто записывал и слова, и мотив. Но это так, между прочим. И конечно, я лучше помню слова русских песен, которым вы меня научили, – о вольности веселой, о славном труде; и еще тюремные песни, тоже замечательные. Между прочим, я недавно сидел в тюрьме, ты, вероятно, слышала об этом; но и это не важно. Я вообще очень благодарен вам за то, что вы меня, мальчика, научили любить свободу и ненавидеть тюрьмы и дворцы. Когда я был в Черногории, король этой карликовой страны пригласил меня к себе на прием, но я отказался. «Где вы живете?» Она ответила тихо: «В Кремле». Мы обнялись и простились; в моей памяти я остаюсь ее рыцарем. Спустя несколько лет, в Берлине, я получил городскую открытку: «Мы здесь». Но в этот день я уезжал в Италию и не мог даже ответить. Я очень любил когда-то Италию, в то время свободнейшую из стран, и остаюсь ее преданным рыцарем; но больше в ней не бываю.

Не изменять никогда детской и юношеской вере – и тогда не нужно справляться по карте, какими проселочными дорогами и тропинками пролегает путь. В книжке «Робинзон в русском лесу» мальчики испугались и заплутались, но пришли туда, куда и стремились первоначально: в безлюдную глушь, к пре-

---

М. А. Осоргин встречался осенью 1916-го.

красной, полной значения жизни пионеров, детей природы, ее учеников и друзей. Она развернула перед ними свою книгу, в которой было записано все, что стоит на полках и в шкапах библиотек всего мира, и еще очень многое, что в этих книгах пропущено и недогадливо запутано: все, что было, что есть, и что будет, и что неложно. Для тысяч и тысяч людей эта истина только малопонятная фраза; они пожимают плечами, думая, что им предлагается всю жизнь есть зеленый лук, запивая железистой водой. Им, в общем, нравится чужое чудачество, но деловые бумаги не пишутся стихами; природа – это отложной ворот, гвоздика, насморк, лягушки и обратный билет; это, во всяком случае, несерьезно, даже если связано с куроводством. На неудобном столе они пишут целую стопку открыток: «Здесь чудесно! Ну, а как вы?» Ранней весной в лесу нет центрального отопления; солнце и дождь равно требуют зонтика. Радостно говоря «увы!» – они расцветают надеждами на старые встречи и за две станции полной грудью вдыхают городскую пыль; немножко обидно, что пропустили заметную панихиду, – и жадно жуют газетный лист. Когда мой отец приезжал в деревню, мы шли с ним открывать новые родники и пили воду из резинового стакана. «Ты знаешь, куда бежит эта вода?» – «В речку». – «А из речки?» – «В Каму». – «А из Камы?» – «В море». – «Ну, а из моря?» – «Из моря куда-нибудь в океан». – «Может быть, она и добежит до океана, а может быть, просто – смотри! – И он показывал мне на облако: Вон она возвращается к нам!» И я знал и знаю, что все возвращается и снова уходит, что гибнет растение – но возрождается в зерне; что путь пролетевшей пчелы повторит другая, что вечен перелетный возврат птиц. Все, что мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг, – все это было раньше вышито зеленой гладью на клубничном косогоре, роилось и жило подо мхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, прыгало по веткам, стояло звонкой песней над крестьянским полем, расцветало на воле и увядало без времени в детском кулаке. И когда на углу Никитской, в большой круглой аудитории, уверенный бархатный голос убежденно бубнил о праве, я слушал с вниманием и

думал о том, что выше всего выдуманного нами: о счастье расти на поляне свободным злаком, стремясь вверх и стелясь по ветру с другими. В дни революции площадь Казанского собора в Петербурге заросла травой, – но и раньше я собирал цветы на московской мостовой. Я видел фотографии анкгорских храмов, стены которых просверлены вековыми деревьями и скрыты ползучими лианами. На римском Форуме я сидел под шестью дубами в развалине домика Цезаря; их неразумно спилили, но они прорастут в развалинах палаццо Киджи, и вырастет лес среди камней Московского Кремля, где рос он и прежде. Отец не мог сказать мне неправды: все возвращается. И детской вере я не хочу изменять.

Это было ровно полвека тому назад. Сидя у пюпитра неудобной и непривычной школьной парты, так что ноги едва касались пола, я выписывал на листе линованной бумаги слова, которые диктовал гулявший по зале учитель русского языка. Нас было много, вихрастых, серо- и кареглазых, одетых в домашние курточки и блузы, подпоясанных кушаками и цветными поясами, пришедших на первый в жизни экзамен. Кроме экзаменатора в зале сидел апатичный директор гимназии, доставал из носа малые шарики и сыпал на пол, таким я после знал его все восемь лет. Наши отцы и матери трепетно ждали где-то в соседних классах, знакомились и говорили о том, как трудно, хлопотно и дорого дается воспитание детей. Мы писали (и не забудьте – по старому правописанию), что «бѣедный дровосѣекъ сѣялъ мелки хмель в зеленомъ лѣсу мачехи, а Глѣбъ и Андрей сидѣли на ели и ѣли хлѣбъ, доколѣ имъ не объявили, что, прежде чѣмъ спуститься, имъ доведется помолиться». Нам сообщали «свѣдѣше, что женитьба лѣкаря нравится великому дѣдушке Сергѣю, занятому ведением дѣлъ въ течете шестнадцати лѣтъ. Мальчикъ Петенька вонзилъ занозу в ноготь сестренки, но она не заплакала ни разу. Митенька стал клясться, что постлалъ постель одѣялом и ушелъ въ поле».[23] Мы узнали во-

[23] Ять – одна из четырех букв русского алфавита, изъятая из употребления согласно Декрету от 10 октября 1918 г. «для упрощения орфографии». Мно-

обще много интересного, выраженного нужнейшими словами и самыми трудными в русской грамоте. Наконец, написав что-то про «мельницу, мѣлъ и ветхого ѣздока», про «кожаный чемоданъ и запеченную ветчину», мы поставили точку, и учитель отобрал наши листы с проставленными фамилиями. Я вернулся к матери, озадаченный зеленым лесом мачехи и шестнадцатилетней деятельностью великого Сергея, и мы более часа ждали решения своей судьбы; от этого решения зависело, купят ли мне на пути домой гимназическую фуражку.

И вот, когда я припомнил и пересказал матери все продиктованные фразы, учитель русского языка вызвал меня и мою мать в залу, погладил меня по голове чернильными пальцами и, дохнув мне в лицо водочным перегаром и табаком, сказал, что я не сделал в диктанте ни одной ошибки и что я буду писателем. Мать была горда и счастлива, хотя мечтала, что я буду прокурором, я же хотел стать лесничим, но пока думал только о фуражке с серебряным гербом, в которой я вернусь домой.

И все-таки он оказался пророком, пьяный и опустившийся человек, доведший нас от буквы «ять» до Стефана Яворского[24] и передавший другому, с которым мы доползли до Собакевича. Я не сержусь на них, ничего нам не давших: мы сумели пойти своей дорогой и уже читали Белинского, когда крестик в учеб-

---

гие выдающиеся литераторы того времени выступили против подобной реформы. К. Д. Бальмонт даже написал сонет «Гонимым», где каждой из утраченных букв посвятил прочувствованные слова. В частности, про «ять» там было сказано:

Изменчивого Е расцвет и скрепа,
Лицо в лицо, глядит на честных ѣ,
Того лишь варвар не сумел понять.

Осоргин с заметной теплотой вспоминает о былой традиции правописания (см. также с. 537).

[24] Стефан Яворский – русский церковный деятель, публицист (1658–1722). Сочинения Яворского изобилуют метафорами и аллегориями, схоластичны – все это делало их труднодоступными для восприятия последующими поколениями читателей.

нике словесности еще не запятнал страниц, посвященных Ломоносову. Мы лениво слушали то, что нам говорили, и легко угадывали все, что замалчивалось. Не сделавшись лесничим, я остался сыном северных лесов, полжизни прожившим в кислоте среднеевропейской и южной природы, но не изменившим очарованьям детства. Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности – русской природы, – в тех пределах, в каких мне этот язык доступен.

И эти строки случайных и беглых воспоминаний – только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и снова возвращается на этой земле. Теням предков и неслышному зову друзей.

Юность

Я пытаюсь вспомнить о годах своей юности, хотя не очень ясно, что разуметь под этим словом, какой отрезок нашей жизненной дороги. Как это никто не догадался делить жизнь на трехлетия или пятилетия, каждое со своим ярлычком, – не было бы путаницы, и, главное, качества и настроения одного отрезка не позволяли бы себе вторгаться в неподобающую клетку. Как вы смеете, уже спускаясь по склону, уже почти спустившись, уже перед окошечком расчетной кассы, ощущать себя моложе и жизненнее, чем полагается вашей категории? Моя зима все еще бесснежна, а головы тех, кто могли бы быть моими детьми, запорошены снегом. Они пытаются уверить меня, что на долю их поколения выпала тяжкая участь, что их несозревшими подхватил ураган событий, унес и выбросил на чужие берега и что это так рано сделало их стариками. Я верю им, сочувствую им, жалею их, хотя мое поколение пережило вдвое больше и в тысячу раз тяжелее. И я утешаю: молодость может вернуться, ведь это не возраст, а мироощущение! В жизни, духовно богатой, переживается несколько возвратов, и невозвратимо только детство, – но ведь не хотите же вы прыгать козлятами? И обратно: бывают люди без юности; их поезд минует эту таинственную станцию зарождения самостоятельной мысли и страстного наката неразрешимых вопросов. Пожалуй, в нынешней спешке прямые поезда удобнее и экономнее. Спешили и мы, но тогда еще не гнались за рекордами скорости и техника была невысока.

Младенчество, ребячество, детство, отрочество, юность, молодость, возмужалость, взрослость, зрелость, возраст средний, почтенный, преклонный, старость, дряхлость – что еще? Какое множество верстовых столбов! Подъем сложнее склона и богаче оттенками, и труднее всего, кажется, определить, где начинается и где кончается юность. Часов в десять утра я проходил аллеей городского сада – в день праздничный, свободный от гимназических уроков, – сад был пуст, только что подметен сторожами, освещен косыми лучами солнца, приятен, свеж, голосист птичьими напевами. На повороте в боковую ал-

лейку меня остановила волна воздушной мысли – накат неожиданного, показавшегося великим открытием: цель жизни есть сама жизнь! Это могло явиться в долгом ходе скрытых и путаных размышлений, но не могло свалиться с ветки липы случайным подарком. Я читал русских и иностранных классиков ни один из них не дал мне этой простой формулы, хотя мог незаметно к ней подвести. С полнотой переживались драмы, помнились прекрасные ответы и умные слова, но детство, еще вчерашнее, не ставило ясного вопроса о цели и смысле человеческой жизни. Его выдвинуло утро и очаровало самостоятельностью, ниоткудностью моего открытия: цель жизни в самом ходе жизни, в движении, а не в какой-то последней точке. И я не знал, что из учебников философии, мне еще незнакомых, ласково кивают старики разных веков и поколений, домыслившие то, что юноше шепчет утренний ветерок. Я был поражен и взволнован: как это замечательно! Детство осталось за плечами наступила юность. Дома не заметили, что вернулся уже не тот мальчик, который вышел в курточке сурового полотна, подвязанный ременным поясом: явился новый юноша, предчувственник будущего, обладатель тайны, которая ляжет в основу строительства жизни. На мелком и быстром теченье ручейка блеснули зернышки золота, потом опять набежал песок, – все равно: я уже видел малый свет, который дается новопосвященным.

Я не о себе пишу – какой смысл писать о себе! Я хотел бы даже писать не о мальчике из северных лесов, будущем землепроходце. Если бы я не боялся аудитории (или – не жалел ее), я писал бы даже не о маленьком человеке, а вообще о существе, вступающем в жизнь. В живой природе есть существа без юности – и с длительной, непонятной для нас юностью. Есть отряды крылатых, которые, едва освободившись из кокона, уже делаются совершенными взрослыми особями – и летят скорее полюбить и погибнуть. Есть мушки, самцы которых подстерегают самок у выхода из небытия в бытие и, помогая им разорвать кокон, не оставляют им ни мгновенья девичьей жизни, – а после кладки яиц уже стережет смерть. Есть мотыли, детство и

юность которых длится семнадцать лет в земле в форме личинки, а жизнь взрослая, окрыленная, меньше недели. Есть человеческие дети со старой душой, и есть старцы, доносящие до гроба, не расплескав, кубок молодых чувств, испитый до дна и все-таки полный. Став в сторонке, будто бы бесстрастный, а на деле взволнованный и смущенный величием жизни наблюдатель, страстью познания пьяный всебожник, мальчик, впервые попавший в кинематограф, – я, в сочетании чешуйчатых пятнышек, в отливах жучьей брони, в изгибах членистых тел, в зеленом лаке хлорофилла, бутонах, шипах, подземном и надземном всепожирании и всесотрудничестве, в полетах, ползанье, стойком внедрении корнями, завидуя тысячеглазию мухи и антеннам последней букашки, – ищу понять и познать, как это случается, что просыпается семя и разматывается клубок жизни, у каждого свой, но единый в своем бесконечном разнообразии, роднящий меня с бактерией, мокрицей, плесенью, слоном и Шекспиром? О какой говорите вы цели, не зная не только причины, но и причины причин? О каком добре, не имея ни в пространстве, ни на земле, ни в себе самих точки опоры? О какой истине – кроме искомой и ненаходимой? Вглядываясь в эту жизнь со всею пристальностью, доступною хрусталику глаза, я вижу только вечный путь с цветным фейерверком символов, скользящих отметок на замкнутом круге, но я не вижу ни концов, ни начал, и в вихре нагромождающихся гибелей и кажущихся рождений я, к несказанной радости духа, в награду за его пытливость, – не вижу смерти: ее нет! Сейчас я могу изложить это какими-то хоть и сумбурными, но внятными словами; тогда, в первый день моей юности, конечно, не мог – даже самому себе. Но если бы я мог сейчас испытать хоть сотую долю того счастья, какое дала мне тогда зарница непостижимой истины! Тогда она была свободной – сейчас оплетена беспомощной речью.

Мы говорим здесь о юности, о рождении сознания, – я не обещал биографических событий, они нужны мне только для иллюстраций. Но я легко могу их выдумать. Так, например, завязав в узелок мое открытие, первую настоящую драгоценность,

уже не детскую игрушку, я отправился с нею по свету на поиски пробирной палатки. Где-нибудь, во дворце, в подвале, в музее или на бирже, должны быть абсолютные знания и абсолютные ценности; мне надо знать, сколько золота в моем куске руды. Я был хорошо воспитанным мальчиком, и, входя в кабинеты мудрецов, я шаркал ножкой и вежливо показывал принесенный образец. Обычно мудрецы осматривали меня с ног до головы, бросая беглый взгляд и на то, что они принимали за игрушку, и, будучи очень заняты, отсылали меня к странице такой-то, строка такая-то общедоступного учебника, где подобное открытие было описано, доказано и опровергнуто, затем вновь подтверждено и оставлено под вопросом до следующего издания. Я пытался лепетать, что важность, собственно, в том, что это я, мальчик, открыл для себя самого и что мне хочется, чтобы вместе со мной порадовались, и тогда они шутливо отсылали меня в столовую, где меня поили чаем со сладкими пирожными. Но как быть? У меня был только один гимназический приятель Володя Ширяев, о котором я дальше расскажу; но Володя, конечно, не авторитет, он тоже едва проснувшийся юноша. Я мог сослаться на отца, никогда не подсказывавшего мне формул, но научившего меня смотреть на облако и думать о воде, которая, испарившись, вернется в родственные ей камские волны. У отца были чины и ордена – может быть, это подействует на не оказывающих мне внимания мудрецов? Прошло много лет, как я ушел из дому со своим свертком. Полмира я, во всяком случае, обошел; с миллионом людей, во всяком случае, перекинулся словами; среди них оказались лишь единицы поэтов, обладавших тайнослухом и тайнозрением, способных созерцать с юношеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые Америки виноградными лозами сыпались прямо в наивно разверстый рот, чтобы сердце трепетало в лад со всей мировой жизнью. Их очень мало, таких людей; остальные проверяют север по компасу, время по карманным часам, нравственность по кодексу обязательных полицейских распоряжений. Их штанишки на помочах, их галстуки завязаны бабочкой, и все, что есть в них отличительного и замечатель-

ного, указано в их паспортах. Наученный долгим опытом, я привык не говорить о серьезном серьезно, чтобы не завязить ног в тягучем тексте их логических построений, и трехкопеечными парадоксами снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника. Сверток юности моей остался нетронутым и нетленным, – его не нашли и не отняли даже при обысках. Поэтому мне нетрудно, развязав узелок, ясно увидеть перед собой картины моей юности, не богатой событиями и отнюдь не счастливой. Я не думаю, чтобы я был исключением, и считаю пустой фразой первую строку фашистского гимна: «Giovinezza – primavera di belezza»[25]. Кто-то придумал и сказал, что юность – счастливейшая пора жизни: попугаи повторили, и понятие вошло аксиомой в наше представление. Юность – переход из богатейшего, цельного детского мира в угрожающую пустоту, которую очень немногим удается оправдать и заполнить не совсем скупыми и досадными образами. Юность – пора болезней роста – и тела, и сознания. Под грудой вопросов бьется и копошится маленький человек, руки которого непомерно длинны, ноги заплетаются, голова не имеет покоя; ломается его голос, и его уже беспокоит пол. Юношеское тело уродливо, возраст, по преимуществу обнаруживающий близость нашего родства с обезьяной. Не ребенок и не взрослый, обязанный быть и тем и другим и не быть ни одним из них. Несчастный объект непонимания родителей и покушения педагогов. Сказки оказались вздором, внешний мир перестал стесняться показывать свою грязь; идолы и идольчики, с рекомендательными письмами, настоятельно требуют остановить на них выбор; ни в одном возрасте так не сказывается власть запахов – черемухи, мускуса, гниения. Матери и сестры оказываются женщинами, отцы подозрительны по глупости и рабским привычкам. Внезапно выясняется, что у героев бывает насморк и

---

[25] Молодость – весна красоты (итал.).
Считать пустой фразой первую строку фашистского гимна – хорошо знавший Италию и сохранивший любовь к ней на всю жизнь, М. А. Осоргин с отвращением относился к режиму Муссолини, а также всему, с ним связанному. В частности, и к песне «Джовинецца» (см. с. 555 настоящего издания).

геморрой, у писателей запоры, у богов наследственное тупоумие. И наряду с этими страшными разоблачениями – органическая жажда жизни и тяга к познанию, которое лишь сахарином посыпает бродящую мозговую мякоть и этим сладким обманом несколько притупляет горечь растущего в юноше сознания. Процесс, почти столь же болезненный и мучительный, как рождение, – этот переход из спокойствия небытия в суетливый и, скажем по совести, неубедительно устроенный мир.

Чтобы пережить и перетерпеть эту ломку, нужна взаимопомощь. Я оглядываюсь по сторонам – всякой формы носы, уши, волосы бобриком или с косым пробором, серые и голубые глаза, у некоторых намек на усы. С двумя братьями-близнецами, Андреем и Митей, меня соединяет в приятельстве легкомыслие: мы презираем девочек и ищем их внимания. Но я ухаживать не умею, я преувеличиваю в скепсисе, в иронии и резкостях, боясь быть неинтересным (худой, белесый, ни пушинки над губой). Мои приятели проще и пользуются успехом: здоровые, веселые, откровенно глупые, в форменных пальто серого офицерского сукна. Их можно различать только по родинкам на лице: у одного на сантиметр ниже, чем у другого; все черты, голос, походка, даже строй мыслей без малейших отличий. Они влюбляются в одну и ту же, а так как их нельзя не путать, то «ухаживают» они по очереди, и когда одному надоест, его замещает другой. Тогда это казалось мне забавным – сейчас большинство людей кажутся мне близнецами. В пятнадцать лет – мой первый роман. Неуклюже сталкиваются руки, пальцы жмут пальцы с боязливой осторожностью, и в долгих прогулках (зимой ноги превращаются в ледышки) мы говорим обо всем, кроме любви. Но, расставаясь, мы обмениваемся записками, сложенными в комочек, где сказано все, – и как сказано! С какими литературными оборотами, с какой глубиной чувств, с каким красивым обнажением души, непременно страдающей, непонятной, неудовлетворенной! Затем новая встреча, рукопожатие, разговор о пустяках, нравится ли вам Достоевский. Так как необходима трагедия, то однажды (в лермонтовский период)

я говорю ей (не пишу, а прямо говорю), что я только смеялся: мое сердце не создано для любви. Правда, мне сказали, что она – уморительная толстушка и не может идти в сравнение с восьмиклассницей Тосей, так что я действительно разлюбил. Она съедает несколько серных спичек и подробно описывает мне (почтальоном ее сестренка), как ее спасли. Спичкам я не верю, но – «как мало прожито, как много пережито»! Я подал сочинение на заданную тему о русской женщине по Пушкину и Лермонтову, – сочинение размером в «общую» клеенчатую тетрадь, потому что уж женщин-то я, конечно, достаточно знаю! Превосходная тема для шестого класса гимназии! Дрянь мальчишка расшаркался перед героинями, отшлепал отечески и Онегина, и Печорина. Что вы хотите: литература – особая статья, смешивать ее с жизнью не приходится. Получил пять с плюсом, и сочиненье было прочтено в классе вслух. Братья-близнецы получили по тройке с минусом; а пятерку кроме меня только Володя Ширяев, создавший «неувядаемый образ» княжны Мэри (прямо на зависть!); я разработал преимущественно Татьяну. Из гимназии мы возвращались вместе, разговаривая просто и серьезно, как люди, друг друга способные понимать, и условились дважды в неделю читать вместе, начав с Шекспира. Мучительно стараюсь припомнить – почему с Шекспира, ну, почему именно с Шекспира? Одним словом – с Шекспира. Шекспир здорово пишет!

Сначала мы читаем Шекспира вслух по очереди, потом пробуем пустить «на голос», поделив между собою роли. Володя – представитель критической мысли, я – романтик, но по этим признакам не всегда легко делить роли, тем более что большинство пьес нам не знакомо. Женщин (как практический знаток женского характера) беру обычно я, хотя леди Макбет исполняет Володя. Отелло тоже я. Гамлета мы проходим дважды; Володя в роли датского принца хорош, но слишком язвителен, и во второй раз он берет на себя Офелию и тень отца. Второстепенных мы разыгрываем по жребию. Я очень одобрен Володей в роли короля Лира – и весь следующий день брожу скорбно, седой, задавленный тягостью лет, так что мать предла-

гает мне лечь пораньше и выпить липового цвету. У нас только одна книга, и мы читаем, сидя рядом, причем Володя близорук. При монологах один из нас овладевает книгой и может актерствовать, бегая с нею по комнате. Тень отца Гамлета забирается на стул – как-то правдоподобнее. Но случается, что мы оставляем книгу и отдаемся потоку мыслей, и вызывают их не сцены, а какая-нибудь одна фраза, одно словечко этого изумительного Шекспира. В воскресенье мы идем на кладбище сейчас же за городской заставой, среди хвойного леса. В дальнем его конце кладбищенский сторож одиноко ковыряет землю для новой могилы. Его зовут Трофим, и он не циник, как те могильщики, а набожный и добрый старик. Мы молча наблюдаем за его работой, ожидая, что вот-вот его лопата выбросит череп: «Бедный Йорик!» Каждому из нас хочется первым сказать эти слова, но черепа все нет. Володя говорит: «Мне нравится в Шекспире, что у него все герои высокого роста, то есть не прямо, а вы понимаете, представляются такими великанами». Мы с Володей на «вы», а на «ты» я только с Андреем и Митей. Я говорю: «Шекспир чувствует страсть и замечательно изображает, а вот доброты в нем нет никакой». Могильщик Трофим говорит: «Вы, баричи, все тут бродите и смотрите, а видали вы змею на плите?» – «Какую змею?» – «Есть старая плита, ей годов сто ли, двести ли, на плите змея кольцом и много написано. Я, конечно, неграмотный, а люди говорят, что отец проклял дочь и про все ее дела написал. Вот какой был человек, непримиряющий!» Мы ищем и находим плиту. Она бронзовая и наполовину протравлена зеленью. Змея закусила свой хвост, и в круге написано церковнославянскими буквами. Поскольку мы способны разобрать, ни о каком проклятии дочери не говорится, и похоронен тут бригадир[26]. Года разобрать не удается, длинная надпись туманна, слова необычны и много выгравированных знаков: лестница,

[26] Бригадир – бригадный начальник, военный чин 5 класса табели о рангах, промежуточный между армейским полковником и генерал-майором. Упразднен в конце XVIII в.

треугольник[27], слитые в пожатии руки, череп и кости, пятиконечная звезда. Плита наклонна, так как один ее край приподнят выросшим рядом с нею кедром, корни которого внедрились и под плиту. В своей старой части кладбище, бывшее раньше лесом, снова стало миром хвои и кустарника, часть могил затянута мхом, деревянные кресты уже давно сгнили и упали, и уцелели только каменные и гранитные памятники и несколько часовенных склепов. Птицы, белки, заячьи покидки и холодок даже в солнечный день. Часто нога проваливается в старую могилу, давно осевшую, а рядом розовые колокольчики ползучей линией обвили двойной каменный скат – крышу вросшего в землю низкого шестиконечного креста. Володя наклоняется и смело подымает землистого цвета предмет, может быть, действительно осколок черепной коробки, и я, на всякий случай про себя, шепчу: «Бедный Йорик». – «Сделаю себе из этого пепельницу», – равнодушно говорит Володя, начавший в этом году курить. Я чувствую зависть к спокойствию Володи и тем же тоном прошу: «Позвольте мне на минуту!» – и, когда он подает мне темный предмет, я, с видом археолога и натуралиста, привыкшего к подобным находкам, откусываю край и, спокойно выплюнув, говорю: «Несомненно – истлевшая кость, вероятно, бывший череп». Всю дорогу меня поташнивает, но все-таки я горд победой. Володя это чувствует и при расставанье великодушно говорит: «Если хотите, возьмите себе».

Дважды, а летом и трижды в неделю мы читаем вслух русских классиков да здравствует великий Маркс[28], не тот, бородатый прусский идол (о нем в девяностые годы мы еще не слыхали), а Маркс – издатель «Нивы», давший в приложениях к

---

[27] Лестница, треугольник… – перечисляются знаки, символизирующие принадлежность усопшего к одной из масонских лож. Таким образом, можно судить, что захоронение сделано до 1792 г. – года запрещения масонства в России специальным указом Екатерины II.

[28] Да здравствует великий Маркс – речь идет о русском издателе и книготорговце Адольфе Федоровиче Марксе (1838–1904). Особую известность имела издаваемая им «Нива» – иллюстрированный еженедельный журнал для семейного чтения, который выходил в Петербурге с 1870-го по 1919 г.

ней все лучшее в русской литературе. Недостающее мы добываем в городской публичной библиотеке, где нам покровительствует стриженая библиотекарша в очках и писатели-художники чередуются с Белинским, Писаревым, Добролюбовым, – никак не можем найти Аполлона Григорьева. В гимназии мы слывем начетчиками, и учитель словесности сильно нас побаивается. Я, сверх того, иду за отменного чтеца и, выступая на гимназическом акте, читаю посвященные Екатерине стихи. Императрице подали пасквиль, в котором ее оскорбляли «как женщину, как мать», и она «пасквиль тот взяла и написала с краю: «Что здесь, как женщины, касается меня, я, как царица, презираю!» Голосом, бровями, всей фигурой я выразил такое величавое презрение, что меня подозвал попечитель учебного округа, почтивший своим присутствием наш акт, и, подав мне пальцы для пожатия, сказал: «Прекрасно, молодой человек, отличное стихотворение, пишите и дальше – у вас талант!» Я робко пробормотал, что это стихи не мои, а Апухтина. «Ну, конечно, знаю, что Пушкина, но прочитали вы прекрасно!»

Володя решил, что если он провалится на экзамене в институт путей сообщения, то станет литературным критиком. Мне предстоял юридический факультет (отчасти в уступку желанию матери), но настоящая, мечтаемая дорога наметилась еще в седьмом классе, когда редактор петербургского журнала написал мне: «Милостивый государь, ваш рассказ принят и пойдет в ближайшем номере. С совершенным почтением». В этом рассказе, о котором ничего не знал даже Володя, молодая девушка упала в воду и утонула, а ее отец сошел с ума и бегал с дикими возгласами по полям и лесам. В следующем рассказе предстояло матери зарубить топором своего грудного ребенка, а самой повеситься. Пока в одной большой приволжской газете была напечатана моя статья об оперном сезоне, а в местной нашей газете – трогательный некролог. Началось!

Как же могло быть иначе – страстная тяга сопричислиться малым звенышком к великой цепи творящих. Писатель – существо необыкновенное, его читает и слушает вся страна и даже другие страны, и по смерти ему ставят памятник. Он, конечно,

страдает – ужасно страдает по всякому поводу, и без этого у него ничего бы не вышло. Его преследуют, гонят, потому что он обличает зло; но лучшие и избранные стоят за него горой и готовы погибнуть вместе с ним. Впрочем, мы читали и критиков, так что понемногу стали разбираться в ценностях: все-таки Лермонтов, знаете, не Пушкин! И зачем это Достоевский написал «Чужая жена и муж под кроватью»? Недаром мы начали с Шекспира! Мы не просто читали произведения, мы видели их авторов. Портреты, которые я в то время для себя создавал, остались навсегда – разве что Пушкин раньше казался мне брюнетом. Высокое почтение не служило препятствием некоторой фамильярности образов. Лермонтов, например, был почти что гимназистом, самолюбивым, задорным, но по натуре робким, больше всего похожим на Грушницкого, никак не на Печорина. И смерть его не казалась трагедией, как смерть Пушкина: просто – пропал ни за грош из-за простой рисовки. Но зато когда он в своем новеньком офицерском мундире приподымался на цыпочки и пел – пелось вместе с ним и даже хотелось тоже писать стихи. Пушкин, наоборот, никогда не казался мне шутником, может быть, и потому, что на портретах он всегда серьезен. «Дубровского» мог написать только очень строгий и очень страдающий человек. «Капитанскую дочку» я часто перечитывал – и она мне казалась (и сейчас кажется) выше всего, написанного Пушкиным. И еще я думал, что Пушкин очень мучился своим малым ростом и обезьяньим лицом и что ему, вот такому, приходилось бороться с красивыми и высокими людьми и побеждать их умом и талантом. И зачем он женился на женщине, рядом с которой он казался смешным и безобразным! Наталья Гончарова была моим личным врагом, – Володя относился к ней снисходительнее, хотя тоже не уважал. К Тургеневу мы оба питали искреннее расположение: с ним было просто – улыбающийся и радушный человек, охотник, любитель природы; жаль, что он не бывал в наших краях и описывал какие-то благоустроенные лесочки с игрушечной дичью – но зато как описывал! В его романах герои были людьми слабыми, бесхарактерными, хорошо одевались и катались по заграницам.

В Асю я был влюблен по-настоящему, и ее именем была названа моя лодка. На месте господина Г. я бы обшарил весь мир и Асю отыскал! Но поступил он с Асей, по-моему, очень благородно. Княжна в «Первой любви» мне не нравилась – ломака и неприятная особа. Но Джемма в «Вешних водах» могла соперничать с Асей. Обо всем этом Тургенев рассказывал с усмешечкой старого, вспоминающего человека, и вот таким писателем (темные брови, волны мягких седых волос, благородный взгляд) мне очень хотелось быть. Но у Достоевского в глазу – на всех портретах нездоровая капелька, неблагородное, как у невыспавшихся или запойных. Достоевский приходил к нам, сидел подолгу, целыми ночами, и говорил много и дурно обо всех, заплетаясь языком, теряя слюну; когда же он начинал кого-нибудь хвалить, то сейчас же у этого человека обнаруживалась болезнь, и оба они извивались на полу в падучей или кашляли прямо нам в лицо. Несколько месяцев подряд мы читали двадцать четыре тома Достоевского, от «Бедных людей» до «Дневника писателя», – тяжелые месяцы моей юношеской жизни, полные первых нечистых мыслей, на какие ни один другой писатель не наводил; к счастью, мы читали его больше летом, в дни каникул, когда можно было купаться, а воздух закамского берега смывал с души липкий налет. Великого инквизитора читал Володя – резким взрослым голосом, и я проваливался в глубокий колодезь безнадежности и не мог выкарабкаться. Позже, уже студентом, я перечитывал Достоевского один, гораздо сознательнее, с увлечением, долгими ночами в московских студенческих Гиршах и Палашах, и тут, в нездоровом воздухе большого города, уже не боролся с ним, а плыл по течению мутных волн, пока опять тот же «Дневник писателя» не оттолкнул меня от него, зачеркнув в нем все, за что он признан мировым писателем. Я потерял веру в его правду – и расстался с ним навсегда.

Нашим любимцем – моим по крайней мере – был в то время Гончаров, спокойный и чистый, уверенный рассказчик. Даже «Фрегат Палладу» мы одолели без скуки и усилий и не прочь были ехать с Гончаровым и дальше. Он приходил к нам без

спешки, садился в большое кресло, перелистывал страницы своих книг холеными руками, и рядом с ним, положив ему на плечо головку, усаживалась Марфинька, а Вера всегда сидела поодаль, прислушиваясь и не произнося ни слова. И мы отлично знали, что бабушка – это Россия и что Волохов, озорной человек, только храбрится, а сам очень страдает, – хотя сейчас мне трудно объяснить, почему нам тогда так казалось. Было странно, что Вера гораздо умнее Райского, со стороны которого было некрасиво бросать ей в окно букет белых цветов. Обрыв был поблизости от деревни Загарье, где в дни моего раннего детства мы живали летом (после смерти отца уже не приходилось), но барской усадьбы я не видал и не знал – только по книгам, по Тургеневу, по Аксакову и вот теперь по Гончарову. Мысленно я стоял над обрывом и ждал возвращения Веры, чтобы сказать ей, что Волохов ее не любит и ее не стоит, что он просто очень самолюбивый бездельник и всему его оригинальничанью грош цена. Но вряд ли Вера послушала бы гимназиста! Вообще я Веры побаивался, а на Марфиньку заглядывался, когда она ластилась к бабушке или прыгала козой.

Когда же приходил к нам неистовый Виссарион Белинский, мы слушали его с жадностью, особенно Володя, готовивший себя если не в инженеры, то в критики. Оценки Белинского казались нам непреложными и окончательными; на его щеках горел чахоточный румянец, и так же горели его слова. Он писал, лежа на диване, и в полуотворенную дверь были видны пришедшие жандармы. Он был человеком безо лжи, судьею строгим, умевшим восхищаться и готовым обрушиться за малейшую писательскую неправдивость. Мы одолели его том за томом, – и это, вероятно, было самым полезным нашим чтением. Наученные им, уже не верили Писареву, человеку холодного ума и злой мысли. И в нем, и в Добролюбове, и особенно в Чернышевском чувствовали какой-то отталкивающий душок; это были обиженные люди, не искавшие добра и желавшие непременно уколоть, посмеяться над лучшими. Некоторые их мысли вызывали нас на раздумье, казались смелыми и основательными, но только Белинский внушал нам полную веру, и только он сам

казался настоящим поэтом. Вероятно, мы и не читали бы Писарева и Добролюбова, если бы одно упоминание их имен не вызывало ужаса на лице нашего гимназического словесника.

Мы читали не только русских классиков и критиков. Вообще мы читали вдвоем и поодиночке – катастрофически много, пользуясь тем, что гимназические уроки – кроме древних языков – не представляли для нас обоих ни трудности, ни интереса. Я глотал Диккенса, Володя Виктора Гюго, конечно – в переводах. Золя, в то время еще модный, нас не захватил, Бальзака мы просто не усвоили. Гете мы читали вместе. «Фауста» пустили «на голоса», но, кажется, напрасно затратили время. В последний год мы читали Толстого – и все, раньше нами прочитанное, отошло на задний план. Если Володя еще мог о нем «рассуждать», то я был раз навсегда побежден и поставлен на колени. «Войну и мир» я перечитывал сейчас же после прочтения нами вслух. То же было с «Анной Карениной». С большим трудом мы раздобыли «Крейцерову сонату», кажется даже в гектографированном списке, так как в городской библиотеке ее не было. Моими любимыми рассказами Толстого были «Альберт» и «Холстомер», и их я знал чуть не наизусть. Толстой не приходил к нам, как другие; он царил где-то над нами, в величавых пространствах, громадный, босой, всеподавляющий. Даже с его героями нельзя было обращаться запросто, как с Обломовым, Райским, Лаврецким, как с Онегиным, Печориным и даже Гамлетом и тенью его отца. Герои Толстого были уже не людьми, а великими образами, и казалось невероятным, что вот через год я буду студентом в Москве и, может быть, пройду мимо дома, где зимой живет Лев Толстой; о том, что я могу увидать его самого, никогда не думалось: можно ли встретить Гомера или Шекспира? Я действительно никогда не увидал Толстого – огромный минус в моей жизни, незаполненная пустота, почти преступление, но не вина; я не видал также Байкала, ледяных торосов, устья реки Лены, не видал тигра на свободе, не подымался в стратосферу, вероятно, не увижу больше России. В юности Толстой был для меня величайшим открытием; его творчество и посейчас для меня кажется непостижимым; вижу,

как пишет Пушкин, как творит литературный колосс Диккенс, но не могу увидать, как из-под пера Толстого появляется маленькое слово «пожалуйста» Пети Ростова, что нужно для этого сделать, как это почувствовать, на какой бумаге изобразить, кем быть и каким образом после этого обедать, смотреть на людей бровастыми глазами, ссориться, отдыхать на лавочке в Ясной Поляне, а не вознестись попросту на небо и не посмотреть рассеянно на весь писательский мир с ближайшего облака? Впечатления юности остались в дорожном узелке, с которым я обходил мудрецов, – и расстаться с ними я не хочу и не могу. Все-таки совсем без богов жить невозможно, без чудес скучно, без чувств чрезмерных закиснешь в грамматической бесспорной фразе. Лев Толстой был и остался российским чудом, весь целиком: великий, несчастный, несуразный, каменная глыба, мужик и барин, поэт и корявый проповедник, брюзга и неустанный искатель истины.

До нас не доходили толстовские религиозные писания, и нашей веры он не колебал и не утверждал. Ее утверждала наша изумительная северная природа; ее расшатывала и уничтожала в нас гимназия. Моя мать была верующей женщиной, но верила она по-своему и несколько смущенно – для себя, никому не навязывая своей религии, даже детям; в церкви бывала редко, дома молилась уединенно, скромно выпрашивая у Бога разные нетрудные вещи для детей. Все, что в религиозном культе картинно, красиво и приятно, у нас соблюдалось: рождественские елки, троичные березки, пасхальные куличи, лампадки перед образом в правом углу, вкусные рыбные и грибные блюда в великий пост. Мы, дети, были верующими, поскольку это традиционно и нетрудно и поскольку не приходило в голову рассуждать. Искореняла религию гимназия, с ее обязательными посещениями церкви, молитвой перед уроками, преподаванием того, что преподаваться не может, и священным ужасом перед вопросами. Церковь была привлекательна для нас тем, что в нее приводили гимназисток: налево ряды наши, направо – их. Мы красовались и переглядывались. Особым шиком было прислуживать в церкви, стоять в алтаре, выходить с кружкой и прохо-

дить по рядам гимназисток. Из алтаря было удобно подглядывать в щелочку, и мы пользовались разрешением посещать алтарь «для лучшего изучения церковной службы». Именно здесь юношеской вере наносился самый серьезный удар созерцанием закулисного неблаголепия. Шепча молитвы, священник время от времени, вытянув из-под ризы красный клетчатый очень грязный платок, набивал нос табаком. Дьякон пальцем смазывал себе в рот из чаши остатки причастия, а палец вытирал где-то в тайниках своей сложной одежды. Постоянно случалось, что священнослужители переругивались, переходя вслед затем на торжественный тон декламации. Приглядевшись к порядкам в алтаре, мы, со своей стороны, под руководством более опытных, покушались на бутыль с превосходным церковным вином, так как заготовленную «теплоту» обыкновенно также допивал сам дьякон. Но и вообще – трудно было проникнуться леностью службы, которую отправлял наш законоучитель, человек уже старый, неисправимый пьяница, сизоносый, неотесанный и исключительно глупый; кстати, ему поручалось и наше политическое воспитание, и иногда, хитренько нам подмигнув, он говорил в классе: «И еще бывают социалисты; это значит, что все твое – мое, а что мое, так это мы еще посмотрим». Мы его терпели, так как меньше четверки он никому не ставил, а на уроках отвечали ему, без стеснения читая по книжке. Разумеется, из озорства задавали ему вопросы: «Как мог Иона не задохнуться во чреве китовом?» – и он неизменно отвечал: «Ежели Бог захочет, братец мой, так и ты кита проглотишь и не поперхнешься! Для Него это – пустяковое дело!» И если некоторые из нас дотаскивали до университета какие-то остатки религиозности – или, может быть, суеверия, – то причиной этого была потребность в поэзии, отзвуки веры детской, семейные традиции и прежде всего – целостность восприятия нашей прекрасной северной природы, полной нерассказуемых и непостижимых тайн. Порывая с ней – порывали и с последними загадками примитивного детского мира, отвергая богатство сказки ради дешевки научной истины. Процесс естественный, законный, правильный, за которым по мере роста

духовной жизни человека следует или не следует новое «хождение в алтарь» и отвержение нового жречества, но уже без возврата к прежней и наивной вере, в лучшем случае – строительство собственного храма неведомому богу или богам.

Мы поссорились с Володей из-за какого-то маленького житейского вздора. У него был злой язык, у меня опасная взвинченность нервов. Стычка произошла при свидетелях, и это осложнило положение. Будь на его месте другой, я бы, вероятно, вызвал его на дуэль, как и случилось у меня с другим гимназическим приятелем: мы дрались за городом на револьвере (был только один), заряженном порохом, но с резиновыми пулями; раненых не было. Но в наших отношениях с Володей полушутовство было неуместно: мы друг друга уважали и считали взрослыми. Было брошено несколько колких и вызывающих слов, сделавших разрыв неизбежным. Время было учебное, встречи ежедневны, но о примирении не могло быть речи. Только что перед этим мы начали читать «Разбойников» Шиллера, и очень хотелось продолжать. Сидя в классе на уроке физики, я видел, что Володя написал и изорвал записку; перед уроком я также написал и изорвал записку. Во время перемены я подошел к нему и, не обращаясь прямо, произнес в пространство: «Не думаю, чтобы личные отношения могли препятствовать культурному общению, впрочем – не знаю». Володя искривил губы презрительной улыбкой и ответил: «В известных вопросах я также выше личных отношений, и, если мой ува-жа-е-мый враг готов, мы можем закончить «Разбойников». Располагаете ли вы временем сегодня вечером?» «Оставьте при себе уважение, которое я не могу вам ком-пен-си-ровать, и в половине седьмого я буду иметь честь посетить ваш дом». – «Гарантирую вам гостеприимный прием», – ответил Володя, и мы повернулись друг к другу спинами. Оба мы испытали немалое удовольствие, что нас слышали товарищи: им не мешает знать, как должны поступать культурные люди. В назначенное время я был у Володи, мы ограничились вежливыми полупоклонами и в один присест, читая по очереди, отмахали «Разбойников» и поспешили начать другую пьесу. Получилось

нечто вроде сказок Шехерезады: «...и на этом месте Шехерезада прервала свой рассказ, так как пришел рассвет... когда же наступила следующая ночь, Шехерезада продолжала: – Известно тебе, повелитель правоверных...» Так продолжалось недели две, пока нас окончательно не примирил ожесточенный «принципиальный» спор, так нас разгорячивший, что на прощанье мы по ошибке обменялись самым дружеским рукопожатьем. А так как на этот раз мы забыли начать новую вещь, то на лестнице, провожая меня, Володя крикнул вдогонку: «Что вы скажете, кстати, о Байроне?» – и я спешно ответил: «Считаю его заслуживающим нашего внимания!» – «Тогда я возьму в библиотеке».

Мы не были начетчиками и, при всем увлечении литературой, не забывали о развлечениях, – времени хватало для всего. Нынешняя молодежь отдает много времени спорту, о каком в девяностые годы мы не знали. В летнее время нашим спортом были лодки и прогулки в лес, в зимнее – катанье на коньках; но, конечно, ни гонок, ни призов, ни иного рода соревнований. Еще процветал биллиард, игра, гимназистам воспрещенная; Володя им не увлекался, но с другими приятелями я часами и днями (даже с рекордом двадцати четырех часов непрерывной игры) сражался в маленьком кабачке у Левушки, жадного и очень набожного старичка, жившего доходами с гимназистов. Биллиард был похож на сильно подержанную таратайку, нужно было знать все его уклоны и личные качества, и я гордился тем, что дважды, играя в «пирамидку», взял партию «с кия», не дав удара противнику. Я очень благодарен биллиарду: он спас меня от иных, менее невинных юношеских развлечений, процветавших в затхлой гимназии провинциального города. Но больше всего благодарен лодке, с которой был связан тесной дружбой с детского возраста; река была для меня едва ли не большим, чем семья, чтение и даже мои литературные опыты, была моим счастьем и моей философией, всем тем, чем для страстного летчика должен быть воздух. Простившись с рекой, я простился не с одной юностью: также и с чистотой и ясностью созерцания, с безошибочностью ответов, с первым ощу-

щением движения как самоцели, с радостным бытием в вечности. Взмах весел – как взмах крыльев, ветер не угонится за дыханием, все движется, вырастая и умаляясь, между зеленой глубью и голубой высью летит свободная душа, рассекая воду и воздух, и это и есть правда, это и есть творчество, раскрытие тайн вверху и внизу, ясное, все утверждающее «да», отрицающее землю, в которую так больно врастают ноги. Я не знаю музыки чище и совершеннее журчанья воды у бортов маленькой лодки – на величавой Каме, моей крестной матери. Как жалко, что уже все слова сказаны и написаны все поэмы! И что не скажет нового даже тот поэт, влюбленный в свою стихию, который, бросив весла и встав во весь рост, просто ввергнется в ее объятья и там, на глубине, всеми легкими вдохнет холодную влагу – ради восторга и смерти.

Приятно иметь право и не иметь боязни впадать в некую восторженность, вспоминая о фетишах своей молодой жизни. Нам это разрешал Белинский и строго воспрещал Писарев; тайно сочувствуя первому, мы побаивались второго. В сущности, ничто с тех пор не переменилось: на страже чувств стоят надзиратели, подымающие белую палочку и дающие свисток, если машина слишком разогналась. Именно на рубеже веков – моя эпоха – появилось обязательство крахмальных воротничков для слишком вертлявой шеи: «Не говори слишком красиво!» Это было, вероятно, необходимо, так как тургеневские «Сенилия», стихотворения в прозе, слишком пополнились подражаниями. Поэты пушкинской эпохи могли бросаться с рыданиями в объятия друг друга, но тогда еще не носили быстро промокающих от дружественных слез жилетов. Мы уже учились быть сдержанными во имя «художественной меры», то есть своеобразного ее понимания, позже ставшего требованием нерушимого закона: наступил ледниковый период холодной чеканки стиля, изображения чувств подбором гласных и согласных. Но – чтобы и дальше говорить метафорами – человек, приучивший себя днем к корсету, даже и ночью боится свернуться калачиком. Нужно было много пережить, чтобы опять обрести право восклицать, когда воскликнется, и не бояться классных

дам от художественной литературы. Законы искусства остались – если есть у искусства законы, – но чувство освободилось от крахмала. Я говорю это не для оправдания (перед кем?) выпадов собственной несдержанной лирики, а просто – вспоминая бурю и хаос мыслей, в которые ввергла нас читательская страсть; я испытывал это особенно остро, так как рано начал писать и теребить волосы в творческом недуге. С одной стороны – «сталь мысли», с другой – сердечная требуха, и примирить это ох как трудно! Между моим первым романом написанным и первым напечатанным – расстояние в тридцать лет. Это объясняется, по-видимому, хорошим уроком, мною полученным в юности.

Редактор петербургского журнала, напечатавший мой первый рассказ, отравил мою душу «милостивым государем». Роман был неизбежен, и я писал его со всеми полагающимися надрывами, с вдохновением, разочарованием, отчаянием, всеми видами мук творчества. Совершенно не помню содержания, но любовь, коварство и неестественная смерть там, конечно, присутствовали. Не думаю, чтобы роман был велик размерами, и не утверждаю, что он был окончен, когда я почувствовал потребность прочитать его вслух бесстрастному критику. Впрочем, я искал, очевидно, не столько беспристрастия, сколько сочувствия, «понимания», и потому избрал слушателем не Володю Ширяева, способного на безжалостный анализ, а более интимного друга, Андрея, одного из близнецов, партнера по биллиардной части и по женскому вопросу. Андрей был польщен выбором и обещал мне самый искренний отзыв, даже если пришлось бы со мной поссориться, – польщен потому, что я предпочел его «начетчику» Володе. Он обещал мне также хранить тайну, пока, как он был уверен, мой роман не прогремит на весь мир. Мы назначили день, и я обеспечил ему бутылку пива, икряную воблу и баранки – лучшие лакомства для торжественных случаев.

Вечер. Мое место за столом у керосиновой лампы; Андрей пристроился на моей постели, чтобы не мешать мне сосредоточиться, не быть в поле моего зрения; бутылка, стакан и тарел-

ка с нарезанной воблой в его распоряжении на стуле. Комната хорошо натоплена, за стенами мороз. Рабочий медленно опускает занавес. Просят лиц посторонних не вмешиваться и, если им хочется, слушать издалека, ничем не выдавая своего присутствия. Керосиновые лампы, вырезывая во тьме конус света, уделяли потолку только слабое мерцание, чтобы там могли кружиться тени – милые существа, навсегда загубленные электричеством. Если в комнате обитала муха, решившая пережить зиму, то она садилась на потолке в центр бледного светового круга, конечно – вверх ногами, но ей это было совершенно безразлично. Тени сгущались к краям круга, упражняясь в неслышном танце, иногда разбегались по углам и попадали там в паутину. Но это только игра, пауки их не трогают. Пушкин, в длинном сюртуке, с тетрадочкой в одной руке, жестикулируя другою, читает стихи другу Дельвигу или Арине Родионовне, которая вяжет чулок. В богатой гостиной ближе к столику, за которым сидит Гоголь, расставлены кресла, мягкие стулья и пуфы для дам, дальше – приглашенные, все – избранные люди, состоящие при литературе, и хозяин знает, что его вечер некоторым образом исторический, – Гоголь в ударе, читает прекрасно, и его пробор расчесан аккуратно. «Ты понимаешь, тут многое еще не отделано, и я сам не уверен…» У Андрея крепкие белые зубы, и он так вкусно чавкает воблу, что слышно, как похрустывают перекусываемые ребрышки; значит, икру он уже доел – плотную, красную, с желтоватой оторочкой жира. Буль-буль-буль из бутылки. «Я не позволю, – крикнул он, ударив кулаком по столу, – я не позволю, чтобы моя дочь, нежное, невинное существо, стала женой развращенного человека!» Мать сидит через комнату от нас и, вероятно, раскладывает пасьянс; она привыкла к тому, что у меня поздно, иногда за полночь, слышится чтенье вслух, ей нравится, что мы такие умные, развиваемся, – скоро и в университет. «Петр схватил ее за руку и хотел привлечь к себе, но холодный взгляд молодой девушки сразу его отрезвил, и он разжал пальцы, услыхав спокойно произнесенное слово «никогда!». Андрей перестал чавкать и поставил на стул стакан. Разве они, люди быта и маленьких де-

лишек, – разве могут они знать, что испытывает художник, когда в уже совсем готовой картине ему не удается последний мазок кисти, заключительная точка, которая вдруг оживит и осветит все, – и тогда на полотне заиграет жизнь и оно оторвется от мольберта и улетит ввысь, в мир недосягаемый, лишь ему одному доступный! Вот тут – я сам чувствую, – тут не то чтобы фальшь, а какое-то напрасное подчеркивание, слишком парадное слово, уже не перечувствованная правда, а желание понравиться читателю, и если взглянуть ему в глаза, то увидишь его недоверчивую усмешку. «Заломив руки, как птица, готовая улететь, Ольга вытянулась всем телом…» Господи, какие же у птицы руки! И она уже дважды вытягивалась на протяжении одной страницы. Хотя бы Андрей крякнул или чем-нибудь возразил… Однако он перестал пить и есть как раз на самом сильном месте, стоившем мне больших волнений и переживаний. Я приближаюсь к сцене, при перечитывании которой не всегда сам мог сдержать слезу, и я боюсь, что мой голос в этом месте сорвется, – автор должен быть бесстрастен. Огромный зал замер, каждое слово чтеца звучит как чеканное золото; его голос сух и отчетлив, как удары молотка, и, когда Ольга, застигнутая лесным пожаром, в пылающей одежде, споткнулась о ствол павшего дерева, – голос чтеца не дрогнул, но по рядам слушателей прокатилась волна вздохов, и в дальних рядах послышалось сдержанное глухое рыдание. Захлопнув тетрадь, молодой автор встал и, небрежно поклонившись, стал спускаться с эстрады. И лишь когда он взялся за ручку двери, ведшей в комнату артистов, в зале раздались бешеные рукоплескания, постепенно перешедшие в ровное посапыванье. Возможно, что Дельвиг посапывал и раньше, но поэт услыхал это, лишь закончив чтение лучшего, что он написал. Шатаясь от усталости и пережитого, он подошел почти вплотную к низвергавшемуся со скалы водопаду и подставил свою разгоряченную голову. Это его отрезвило, и он, не взглянув на спавшего Дельвига, прошел в комнаты Арины Родионовны. «Ушел твой приятель? – спросила она и, взглянув на меня поверх очков, которые она теперь надевала при работе, сразу поняла, что ее большой мальчик

чем-то огорчен. – Уж не поссорились ли вы?» – «Нет, мама, Андрей еще здесь, он, кажется, заснул». – «Ну вот, зачем же вы так утомляетесь! – Маленьким пресс-папье, почкой уральского малахита, она разбила кедровый орех и положила в рот зернышко. Это всегда было ее любимым лакомством. – Постой, а как же он спит? Нужно бы постлать ему на диване в столовой, я сейчас дам простынь». – «Он не останется ночевать, и ты вообще не беспокойся». Автор «Мертвых душ» склонился над рукописью второй части. Развернув ее, он прочитал несколько строчек, затем схватился за голову и стал раскачиваться с мучительным стоном. В печке был еще огонь. Он открыл вьюшку, и угли в печке сбросили пепел и приветливо засветились. Не оглядываясь на стол, он протянул руку, взял рукопись и бросил ее на угли. От жара заворотились первые страницы, затем вся рукопись вспыхнула сразу веселым огоньком. Свет ударил в лицо спавшему, и Андрей, сладко потянувшись, сказал: «Ну как, кончил? А здорово, знаешь, написано! Ты не думай, я все слышал. Не хуже Лажечникова, ей-Богу!»

Описать в романе клокочущую страсть – это ведь совсем не трудно! Есть столько превосходных литературных образцов, столько приемов, столько прилагательных! Картины падения в то время заменялись двумя строками точек, а подробно описывались только нравственные страдания. К своему стыду и счастью, должен признаться, что мои собственные понятии о падении были чрезвычайно туманны. Теоретически технику падения я, конечно, знал – среди нас были «падшие», – но никак не мог совместить ее с чувством любви, которое должно быть трепетным и высоким. Тут была неувязка. На любовь бросалась некая тень: очевидно, любовь не очень приличное чувство и признаваться в нем не следует. В восемнадцать лет я был уже много раз влюблен, но, черт возьми, поцелуи мне не были ведомы. Мне кажется, что один раз я поцеловал руку Катеньке, хотя боюсь, что я только задел ее нечаянно, даже не губами, а щекой. Впрочем, я держался так, как будто все это мне не только известно, но и порядочно прискучило. Из-за Катеньки я и дрался на дуэли – из-за гадких слов о ней и обо мне. Когда мне

было девять лет, моя старшая сестра – на восемь лет меня старше – выходила замуж. Я был очарован ее женихом, казавшимся мне идеалом мужчины. Однажды вечером, когда меня уже уложили спать, хотя у нас были гости, в мою комнату, освещенную лампадкой, тихо вошли сестра и ее жених; вероятно, им хотелось остаться вдвоем. Они сели на стулья против моей кровати и стали шептаться, боясь меня разбудить. Но я проснулся и смотрел на них с интересом. Вдруг жених быстро обнял сестру и хотел ее поцеловать; она ловко увернулась и погрозила ему пальцем, а у него, как мне показалось, отвисла губа и лицо стало противным; жениху сестры было уже за тридцать, ей семнадцать. Потом они ушли, хотя он пытался еще задержать сестру в полумраке моей комнаты. С этого вечера я перестал его боготворить и уклонялся от его шуток и ласк. В любви есть что-то стыдное. И действительно, над влюбленными смеялись, и они краснели. Объектом постоянных насмешек гимназистов был наш учитель немецкого языка, Шмидт, или Фукс, или еще как-нибудь, который был безнадежно влюблен в пухлую немочку, дочь учителя женской гимназии. Он был так влюблен, этот рижский немчик с тараканьими усами, что плакал, читая нам вслух стихи Шиллера и Гейне, и вытирал глаза платком, надушенным немецкой гадостью. И случилось, что я стал его соперником – совершенно помимо своей воли; на гимназическом балу я танцевал с его любовью, и она не заметила его почтительного поклона. Он не только приревновал меня, но и искал случая меня оскорбить и унизить. Случай подвернулся легко, так как я терпеть не мог и отвратительно знал немецкий язык. Он стал ко мне придираться, вызывая всякий урок, передразнивая мое произношение, и однажды, распылавшись, велел мне выйти к классной доске и стоять около нее до конца урока. Это было настоящим оскорблением, потому что меня никогда никто не наказывал, даже в младших классах; одна такая попытка кончилась моим нервным припадком. Но поставить к доске восьмиклассника – это вообще было дерзостью. Я побелел и холодным голосом Ольги из своего уничтоженного романа сказал: «Я вызываю вас на дуэль и убью, как таракана!» Затем я

медленными шагами вышел из класса и ушел домой. Из этой истории победителем неожиданно вышел я. Немец заявил директору, что честь заставляет его принять мой вызов на дуэль. Директор схватился за голову, вызвал меня и, догадавшись о моем настроении, торжественно мне обещал, что Фукс оставит меня в покое и будет спрашивать у меня урок только один раз в четверть и в тот день, когда я подам ему знак, «приветливо кивнув головой». Такое пристрастное решение было вынесено, очевидно, потому, что я, считая свои корабли все равно сгоревшими, подтвердил директору свое намерение убить в честном бою немецкого учителя. Условие было соблюдено, и в первый выбранный мною день я отбарабанил Фуксу вызубренную наизусть «Перчатку» Шиллера, – мы, черт возьми, знали, что такое рыцарство! А он таки женился на своей немочке, – в конце концов, симпатичный и невиннейший таракан! Уже студентом я был на его свадьбе, мы выпили брудершафт и пели гортанными голосами охотничью немецкую песню про старый лес.

Меня отвлекают эти сценки – но, может быть, они лучше рассуждений поведают о жизни чувств, о том, как слагаются в душе юноши представления о самом серьезном в нашей жизни – о любви к женщине, о любви вообще. Могу ли я удержаться от скромного образа любви материнской – постоянная забота издали, чтобы не стеснить юноши, которому хочется казаться взрослым; скрыванье бедности под белоснежно-чистой скатертью; неназойливая чуткость робких советов, как будто случайных, но всегда вовремя и кстати. Надломленная личным горем, – потому что она не может забыть того, что для нас, молодых, быстро тушуется интересами жизни, – для семьи держится прямо, блюдет достоинство, твердо надеясь, что вот и оставшиеся при ней дети выйдут в люди и тогда она замкнется в мир воспоминаний, тихо старея и готовясь отбыть для встречи с человеком, любовь которого определила ее жизнь. Когда умер мой отец, мать была – или казалась – еще совсем молодой, без единой морщинки, единого седого волоса, хотя уже была бабушкой. Такою же продержалась еще десять лет, несмотря на

много горя, доставленного ей детьми, о чем не рассказывает. С утра в корсете, упрямая институтка, всегда одетая с изящной простотой, приветливая с гостем и прислугой, строгая и важная в отношениях с людьми, перед которыми другие заискивали, она ни перед кем не призналась бы, что ее сердце источено горем и что она безмерно устала жить. Такою она осталась и одна, когда я, последний из детей, уехал в Москву; приезжая на каникулы, я находил ее такой же выдержанной, готовой интересоваться всем, что занимает ее детей, читавшей столичные газеты и журналы и по старой привычке ежедневно занимавшейся четырьмя иностранными языками – французским, немецким, английским и польским, – знание которых она не имела случая применять на практике в провинциальном городе. Она состарилась в один год, даже в одну зиму – и умерла в тревожном пятом году, узнав, что я в тюрьме и мне угрожает казнь. Она уже была больна, и для меня нет полной причинной связи двух событий; но сыну, понявшему материнскую любовь, не поставят в вину того, что он в своей памяти, рядом с этой любовью, записал и чувство непримиримости к тем, кто как собственностью швыряется человеческими жизнями. Непримиримость навсегда, до сего дня, до смерти.

Я много раз замечал, что о наиболее отдаленном, о детстве, вспоминается с полной ясностью, какой годы юности не дают. Тот простой мир зарисовался домиком, елочкой, игрушкой, зайцем, у которого одно ухо опущено, горем, сверкнувшим молнией, – и опять небо ясно и мир улыбается, маленькой, любимой, единственной книгой, шуткой отца, первой выпиленной рамкой из крышки сигарного ящика, – вообще всем тем, что отчетливо своей первостью и дальше уже неповторимо в такой же радости. Мы часто шутя говорим детским языком – и никогда не подражаем ломающемуся голосу юноши. Помнятся сказки – и не помнится пора их крушенья. Рисунок путается и теряет чистоту красок. Дым из трубы уже не вьется штопором, у собаки хвост не загнут колечком, у первого портрета нет египетского глаза и турецкой брови, негнущаяся рука не растопыривает кисточкой длинные прямые пальцы. Образы юноши

хотят быть возможно реальнее в своем шаблоне, и в них перспектива уже убивает прекрасный иероглиф изображений. Детский карман наполнен первичными ценностями личного значения: найденной пуговицей, закушенным яблоком, бабкой, мелом, огрызком карандаша, свистулькой, самостоятельно вырезанной из вишневой ветки; но юноша уже несет чемодан или швейцарский мешок с набором усвоенных истин, алфавитом склонностей, коллекцией дешевых парадоксов. Ему подобает быть немножко циником, забегать вперед в отрицаниях, прислушиваться к росту волосков на верхней губе, мечтать о пенсне и тросточке – символах взрослости. Моя ранняя молодость протекала в сравнительно счастливое время, когда не было кинематографа и площадок для отбивания головой кожаного шара, не было даже велосипедов; недотяпанность и простота провинции была по крайней мере цельной и не опошлялась мировым экраном, газеты не заманивали авантюрным подвалом. Не избалованные выбором, мы читали лучшее, что было в русской литературе, потому что оно раньше и проще всего попадало в наши руки. Но что давало нам увлечение литературой? Искусственные образы, прикрашенное словесными узорами изображение идей и чувств. Мы любили по Пушкину и страдали по Достоевскому, выписывая закругленную фразу там, где естествен только крик радости или горя, привыкая к прописям раньше, чем в нас слагался собственный язык для выраженья нами открытых чувств. Может быть, это вообще неизбежно в культурных общественных рядах, где кустарник и деревья непременно стригутся под гребенку – и сад предпочитается лесу. Но я все-таки жалею, что гимназия, город, литература отвлекли меня от природы, которая в ранние детские годы, особенно в летнее время, заполняла мой мир целиком; жалею и о том, что мало знал окраинные улицы, быт бедняков, желтый дымок спичечных фабрик, которых было несколько в наших окрестностях, и только раз побывал на пушечном заводе, где директором был отец моего одноклассника. Не знаю, ясно ли я выражаю свою мысль: мы несравненно лучше знали жизнь по романам, чем по личным с нею встречам. Вероятно, потому

образы моей юности так бледны и так охотно забылись, и иногда мне кажется, что прямо из ребячества я попал в университет. И потому я упрямо миную гимназический быт, о котором другие рассказывают так красочно и так хорошо. В моей памяти отчетливо сохранилась только одна картина – не столько в фактах, сколько в отголоске пережитых ощущений, и это – картина какого-то странного патологического массового взрыва, безрассудного бунтарства, вероятно вызванного припадком безнадежной скуки и жажды чего угодно, но только нового, хотя бы катастрофы.

Могла быть латынь, воображаемая прелесть «Георгик» Вергилия, или могло быть то, что у нас называлось физикой, – зубрежка формул без ясности смысла, без опытов, без общего понятия о месте этой науки в неуклюжей и закоптелой храмине наших познаний, тягучий и трудный вздор, безграмотно изложенный усталым пьянчужкой и повторенный нами. Могла быть всеобщая история, в которой что-нибудь восклицали проглотившие шпагу императоры и не было ни народов, ни страстей, ни революций, ни движения вперед, только листанье страниц с отметкой крестиком да мельканье годов и имен. Могла быть даже словесность, в которой прасол Кольцов был так же велик, как вчера был Крылов и завтра будет Гоголь, тоже родившийся в таком-то году и уже в раннем детстве почувствовавший свое призвание, а потом начавший творить писаные чудеса. Во всяком случае, был еще один нудный гимназический день в комнате со спертым воздухом и запахом крысы в испачканном мелом вицмундире. Могло быть все, кроме молодости и живых интересов, кроме правды, понимания и хоть сколько-нибудь живого слова. Потом был получасовой перерыв принесенные из дому завтраки и продажа в коридоре мясных двухкопеечных пирожков. Так было с первого класса – и мы дотягивали восьмой.

В перерыве между уроками один из нас – это мог быть и я, мог быть не я, мог быть здоровый, больной, каторжник, герой, идиот, умница, безразлично, – один из нас, руки в карманах, не зная что делать: запеть, запить, плюнуть, утопиться – подошел к

черной классной доске, орудию пытки и экрану бессмыслицы, и ударом каблука отшиб нижний колышек, на котором гильотина держалась в своей рамке. За минуту до этого ни у него, ни у всех остальных не было в мыслях разбивать плотину нашей мутной реки и взрывать тюремные стены. На треск повернулись головы, всколыхнулась дремота, и молча, как по уговору, все стали бить ногами черную доску. Она оказалась белой внутри, и она была разбита не на куски, а в малые щепы. Кто-то, на чью долю не выпало отвести душу сильным ударом, красный от натуги, выламывал железную дверцу изразцовой печки, другому силачу удалось отковырнуть кирпич, – и голыми руками, спеша и ломая ногти, мы в несколько минут разнесли печь, разбили и сорвали с петель стеклянную дверь, столик, кафедру и принялись ломать ученические парты. На грохот сбежалась вся гимназия, и мальчики восторженно и понимающе смотрели на разрушение, которое уже не могло остановиться, – Бастилия должна была пасть. Похмельные и ошалелые, в разорванных блузах и с исцарапанными в кровь руками, мы вышли в длинный коридор, очищенный классными наставниками, которые также все попрятались. Даже в швейцарской не было сторожа, и мы, одевшись, разбрелись по домам, не обсуждая и не оценивая, что и почему произошло. Но мы и сами ничего не понимали. Я помню только одно – что на другой день я пошел в гимназию и что там были в сборе почти все мои одноклассники – притихшие, но спокойные. Мы могли ждать любой кары, но почему-то у всех была уверенность, что в этом положении и у нас, и у нашего начальства выход один притвориться, что ничего не произошло. Разрушенная классная комната была заперта; для нас, восьмиклассников, был отведен физический кабинет. Уроков не было – никто из учителей к нам не вошел. Малыши смотрели на нас, как на героев, в шинельной сторож помогал снимать пальто, чего никогда не делал; попавший мне навстречу в коридоре классный надзиратель первым вежливо поклонился. В конце первого часа, бывшего для нас свободным, вошел к нам инспектор гимназии, единственный человек, которого мы уважали, умный, пожилой человек, хотя мрачный,

запойный пьяница. Видимо, он не приготовил речи и не знал, с чего начать. Помявшись, он угрюмо пробормотал, что сегодня занятий не будет, но хорошо бы с завтрашнего дня спокойно приступить к урокам, потому что не за горами и выпускные экзамены. Уже двинувшись к выходу, он прибавил: «Что случилось – то случилось, и уж лучше, и для вас и для нас, об этом не болтать». Мне показалось, что у него дрогнула скула, и все мы были смущены. Наш бунт, больной, бессмысленный, ни против кого лично не направленный, был замолчан и забыт. О нем, конечно, говорили в городе, но в «округе» или не узнали, или не захотели знать – класс был на выпуске и скандал был бы чрезмерным.

Мне странно вспомнить, что только эта страничка гимназических воспоминаний осталась в моей памяти как событие значительное и – я бы сказал – светлое: гроза, очистившая воздух. Не будь ее – мы вышли бы из стен «казенного заведения» угрюмыми и мстительными юношами, не способными на прощение; сейчас я готов допустить, что не все и не всегда в нем было отвратительно и что какую-то крупицу признательности я все же могу к нему чувствовать, хотя бы за то, что оно научило меня не делать ошибок в словах с более ненужной буквой «ять» и катать наизусть «Слово о полку Игореве». В частности, я сохранил уважение к угрюмому, давно-давно покойному инспектору нашей гимназии.

На нижней поверхности древесного листа – белое пятнышко, ряд вскрывшихся восковых пузырьков, в каждом крохотный жучок. Иногда этот выводок расползается, но при первой тревоге все сбегаются в кучу и прячутся по своим ячейкам. Таков же выводок паучков, рыбок, похожих на прозрачные стрелки, цыплят – на золотые шарики. Приходит какой-то момент, кучка разбредается, и один не хочет больше знать другого. Однажды мы выпускали в лес ежат одного помета, живших у нас в комнате и спавших вместе в тулье старой шляпы, наполненной сеном. Уже подросшие ежики немедленно разбрелись по зарослям вереска и можжевельника в разные стороны, даже не попрощавшись; хотелось им крикнуть: «Слушайте, ведь вы можете

больше никогда не встретиться! А встретитесь – не узнаете друг друга, братья сестер и сестры братьев!» Приходит день, и юноши, восемь лет просидевшие рядом в одной душной комнате, зубрившие одну и ту же нелепость, разбившие в щепы и мусор и эту комнату, и эту нелепость, быстро разбегаются по свету и теряют друг друга из виду. После, уже случайно, сталкиваются в потоке жизни отдельные щепочки и делятся впечатлениями. Андрей и Митя оба стали врачами. Толстый, лысый, обрюзгший, протухший карболкой лаборант говорил мне: «Да так, ничего особенного, живу; одно могу тебе посоветовать, если еще не поздно: не женись, брат, не стоит!» Случайно на ученом диспуте, совсем не по моей части, подходит близорукий и добродушный человек, профессор геологии, и спрашивает: «А не из одного ли мы с вами города? Мне ваше лицо как будто тоже знакомо!» – «Ну, седина меняет человека, а вот классную доску мы, пожалуй, разбивали вместе». – «Очень, очень рад встретиться, – говорит крупный человек с отличным брюшком, – да вот, как видите, учу сограждан уважать законы страны. А как вы?» С трудом припоминаю, что это Петька, отчетливый лентяй и болван, кое-как дотянувший курс. В журналах стихи и проза за подписью знакомой фамилии, не часто встречающейся. Но неужели это тот самый мой сверстник и одноклассник? Если бы я хотел предсказать его судьбу, я отвел бы ему теплое место в акцизном управлении или пустил бы его по учительской части в дальнем губернском городе, женил бы его на доходном доме, но искусство… Я вчитываюсь в его творчество, захлопываю книжку журнала и отвечаю: да, это он!

Три – пять встретившихся еще раз в жизни имен – из нескольких десятков. С одним мы не расстались и в студенчестве, делили комнату на Бронной, делились и обеденными купонами студенческой столовой. Однажды мы пошли на сходку в старое здание университета. Я выдержал час – но больше не мог: у меня был приступ разочарования в защите чести студенческого мундира. Я вышел во двор и увидал, что проход на Моховую загорожен полицейским нарядом. Тогда я прошел узким подземным коридором в переулок и услыхал, как за мной забивают

дверь. На Никитской мне встретились казаки. Все это происходило ежедневно и уже наскучило. Очевидно, нас арестуют и вышлют, как в позапрошлом году. Я собрал вещи в чемоданчик и уехал к сестре, оставив сожителю записку. Но он не получил ее: прямо из круглой залы университета он попал на сибирский этап и умер, не доехав до места ссылки. Он был слабого здоровья, сутуловат, близорук, никому не страшен, но верен своим взглядам. Без событий – жизнь его вычеркнула.

Я, конечно, очень забежал вперед в своих воспоминаниях о юности. Пропущены самые обязательные страницы, и я попытаюсь восстановить их в обязательном тоне. От пристани отходит пароход, и мать машет мокрым от слез платочком. Студенческая фуражка была куплена еще весной, и голубой околыш успел слегка выцвести. Граница юности и молодости, но еще искусственная: уезжает мальчик, которому очень хочется казаться взрослым. За обедом в пароходной рубке я велел подать большую рюмку водки (рыбная солянка, стерлядь кольшком!). Едет в столицу бывалый студент. На мне серый летний пиджачок – форму хочется заказать в столице. Несколько интересных девиц – с маменьками и одиночек. Три дня парохода – истинное блаженство. Появляется соперник: высокий красивый студент с кудрявой бородкой: впрочем, не выше меня ростом, но все-таки – с бородкой! Меня утешает то, что он держится не бойко и, видимо, хотел бы со мной познакомиться. Когда я выпиваю свою рюмку – она лишь вторая или третья в моей жизни, – он краснеет и заказывает пароходному лакею такую же. Это меня бодрит, – а может быть, бодрит рюмка, и я бросаю со столика на столик: «Вы в Казань, коллега?» «Коллега» – это такое слово, такое слово, что его красоты и силы и пояснить нельзя! Чтобы произнести его впервые, нужна смелость и некоторая привычка к актерству; я приобрел ее, читая вслух Шекспира. Нет, он едет в Москву, а пока подсаживается к моему столику, и мы спрашиваем еще по рюмке. Хотя камская вода спокойна как зеркало, но пароход начинает покачивать. Да, он москвич, юрист, третьекурсник, то есть он перешел на третий курс. А вы казанский? Нет, я тоже еду в Москву и тоже юрист: по правде

сказать, я только что поступил в университет. Я не понимаю, почему он смущен, но нам, во всяком случае, весело. Мы выходим на палубу. У него новенькая фуражка, и он завидует моей, выцветшей и уже слежавшейся на голове. На пароходе мы, конечно, интереснее всех, и при нашем проходе девицы делают равнодушные лица. Впереди три вечера. Дело в том, что жизнь, в общем, занятная штука. Воздух возбуждает аппетит, и за ужином мы опять выпиваем по две рюмки, а после пьем пиво. Тут оказывается, что его имя Борис, что у него в Москве есть сестра в консерватории, прямо сказать – очень хорошенькая, она вам живо вскружит голову. И уж если говорить по чистой совести, то он не третьекурсник, а тоже только поступил в университет, но, знаете, коллега, только не смейтесь, – у вас старая фуражка, и я боялся оказаться молокососом, к тому же думал, что вы едете в Казань. Мы радостно смеемся и говорим так громко, что все улыбаются и тоже радуются за нас. Ох уж эти студенты – лихой народ! У Бориса отличный баритон, на пароходе пианино, и новая фуражка побеждает выцветшую. Но дело в том, что одна из девиц необыкновенно прилежно читает. У меня нет голоса, но отличный слух, и я напеваю: «Бесспорно, чтение дает нам бездну пищи для ума и сердца – но не всегда ж читать возможно!» Она силится не слышать, но кончается тем, что бегущие мимо берега внимают нашей беседе о литературе, – и уж тут побеждает фуражка отцветшей голубизны. В Пьяном Бору превосходные раки. В Казани мы теряем общество девиц, но приобретаем новые знакомства. В Нижнем Новгороде пароходные удобства сменяются третьим классом поезда, и стук колес не мешает нам перекликаться, сделав из верхних полок мягкие ложа, так как с нами едут для будущей жизни одеяла и подушки, – и московский вокзал выталкивает нас, благоговеющих, на Садовое кольцо. Да здравствует молодость! Да здравствует преддверие настоящей жизни! Я всматриваюсь в темноту пройденного длинного коридора и в далекой его перспективе вижу мелькнувший свет, заслоненный фигурами юношей, смело распахнувших дверь и бегущих сюда: но им не удается сохранить на своем пути бодрую походку. Мне хочется

подождать, пока они подойдут и пройдут мимо стариками, – и низко поклониться своим воспоминаниям.

Юноша крутит над своей головой веревку с привязанным камнем. Снаряд вырывается и летит по кажущейся прямой. Юноша слишком размахнулся, и камень летит над деревьями, вершинами гор, минуя границы, отклоняемый ветрами и вихрями, сшибаясь с препятствиями, теряя силу. Мы вступаем в область географии, которая так плохо преподавалась, но со временем поддалась практическому изучению. Я изучал прибои и приливы разных морей и ломал язык для чужих гласных и согласных. В жизни взрослой и сознательной вкусил больше от Запада, чем от родины, и для приветствий и проклятий завел особую тетрадку – много тетрадей, – не для чужих глаз и не для печати. Там люди, идеи и события наколоты на длинные булавки, крылышки расправлены, все пересыпано нафталином. Бабочки, мушки, осы, стрекозы и его благородие жук-усач. Там великие люди из энциклопедического словаря ходят в спальных туфлях и неизящно сморкают носы. Там идеи играют в свайку и топчутся на одном месте, и из пустого в порожнее переливаются и пересыпаются явления со звонкими заголовками. Когда же камень, обернувшись бумерангом, ударился о петербургскую мостовую, у моей двери остановилась странного типа походная коляска с солдатом за кучера и усатый офицер-фронтовик уверил меня, что он не кто иной, как Володя Ширяев, с которым мы прочитали все, что написали для нас человеческие гении. Он был в отпуске с фронта и, узнав о моем возвращении в Россию, поспешил возобновить гимназическое знакомство. Мы отправились на Острова, где в большом ночном ресторане подавали только квас и лимонад, и, однако, посетители были пьяны больше, чем в мирное время. Мы рассматривали друг друга, кожу, волосы, улыбки, искали знакомых звуков в голосе и говорили обо всем, кроме войны: о черепе бедного Йорика, о Великом инквизиторе, о княжне Мэри и Марфиньке, о разбросанных по вселенной чертовых куличках и надеждах тридцатипятилетнего возраста. «Помните нашу знаменитую ссору? – сказал Володя. – Согласитесь, что это было очаровательно!» Я

помнил ссору и помнил взрыв, уничтоживший классную комнату; этот взрыв повторился спустя год – мы этого еще не знали, но уже могли предполагать. «Через три дня кончается мой отпуск, – сказал Володя без всякой горечи. – Я очень рад, что нам удалось встретиться». Я не знаю, был ли он убит. Но он был талантлив, и невозможно, чтобы о нем, живом, я никогда более не слышал.

Контролер с удивлением вертит в руках мой билет: на нем помечена начальная станция, но не указана конечная: «Куда же вы, собственно, едете?» Я должен бы пояснить ему мое первое открытие: цель жизни есть сама жизнь, и я не умею эту жизнь резать на аккуратные кусочки. Грудные дети часто бывают похожи на старцев, старики падки на юношеские шалости. Однажды у меня встретились за обедом молодой поэт и старый общественный деятель; разница в годах – свыше сорока лет. Я не сомневаюсь, что в борьбе на поясах или в успехе у женщин победил бы молодой. Но в оптимизме и в приятии жизни они менялись годами: мысли молодого отдавали шампиньоном, старик просился в петличку летнего пиджака. Первый горделиво нес бремя общественной благотворительности, второй терпеливо ее организовывал, живя своим трудом. Это было лет пять тому назад; с душевным холодом за одного, с радостью за другого прибавляю, что старик пережил поэта, погибшего бесславно. И я говорю огорошенному контролеру: «Если поезд не сойдет с рельсов раньше, я еду до станции Утомления, не предугадывая ее официального названия». Мы же условились, что жизнь не делится на отчетливые возрастные кусочки. Я только что снял свою первую студенческую комнату в Москве – конечно, на Бронной и шел с бутылкой купить керосину для лампы. У дверей пивнушки меня остановил студент без фуражки, со всклокоченной бородой, свирепым видом и добрыми глазами: «Почему ты идешь мимо, рыжая бестолочь?» Собственно, рыжим был он, а никак не я, но я почувствовал прилив восторга и гордости. Он вырвал у меня бутылку, которую мне одолжила хозяйка, понюхал и сказал: «О юность, иди своей дорогой, но помни, что все пути ведут в Рим»; затем повернулся

и с бутылкой ушел в Рим. Мне очень хотелось последовать за ним в приглядный кабачок, но я не решился. На цыпочках, высоко держа голову, я трижды прошел по Тверскому бульвару, от Пушкина до столовой Троицкой, – и мир был светел и полон надежд. Не эти ли минуты считать священным отплытием от берега юности в океан молодых переживаний? Еще в круглом зале профессор Чупров не произнес своего бархатного «Милостивые государи!», еще на блестел полировкой под низкой лампочкой стол в Румянцевской библиотеке, еще Манеж на Моховой не говорил о пределах студенческой свободы. Новенькие фуражки, встречаясь на улице, отводили глаза, но сердца сияли приязнью начало соборности. Мои руки вытягиваются и обнимают ряд зданий – и двор с нелепой куклой Ломоносова, и холод колонн университета в Риме, и Сорбонну, катящуюся по скату улицы Сен-Жак! С влажными складками крыльев бабочка высвобождается из кокона, – и предстоящий ей мир не меньше нашего; я хотел бы огромным карандашом зачеркнуть много строчек, страниц и книг и в прошлом, и в настоящем, оставив вне скобок только минуту ее первого вылета. Чистый звук струны, без развитого мотива, без дирижерской палочки, бесспорность неуловимого разумом и не отравленного стерегущим сомненьем. В булочной Филиппова на Тверской пирожок стоил пять копеек, счастье бесплатно. В окнах книжного магазина ответы на все улыбались синими, серыми и желтыми обложками, московский ванька обожал свою лошадь и уважал седока, река деловито бежала под стенами Кремля, и у мостов ее вода, натыкаясь на камни быков, напоминала морщинками лапки у серых смеющихся глаз. И тут живут, и за рекой живут, как живет и вздымается в дыхании грудь всей земли, заселенной мудрецами и рыжей бестолочью. Потом – но только потом – эти камни, окна, книги, мосты, серые глаза, дышащие груди, бегущие через поля столбы, подводные лодки, лачуги и вавилонские башни, крохи познаний и бездны невежества, биржи, самолюбия, подвиги и все слова, предметы и понятия взорвутся, сольются в клокочущую кашу из металла и тел, испепелят веру, изнасилуют любовь и волосатая рука по-

кажет наивной вековой мудрости огромный кукиш с загнутым желтым ногтем, – но это потом, в темном холоде будущего, которое юноша приветствовал голубым околышем фуражки, – и был прав, не угашая слишком рано надежды, без которой жить нельзя. Когда обратно по бульвару я шел домой, забыв, что керосин не куплен, сидевшая на лавочке женщина с приветливой хриплостью голоса бросила мне: «Коллега, дай папироску!» Неся свой восторг, я прибавил шагу и, поднявшись на воздух, плавным поворотом влетел в устье Латинского квартала.

Рано утром я стучу в дверь комнаты и бужу юношу, доставленного мною на станцию «Молодость». «Не позабудьте, – говорю я ему, – что сегодня ваша первая лекция и вы делаетесь «милостивым государем». Его глаза сияют. Я пожимаю ему руку, желаю быть кузнецом своего счастья и, спускаясь с лестницы, вижу котенка, играющего клубком. Клубок разматывается, и настоящее уходит в прошлое. Моя задача выполнена, мне некуда больше спешить, и я возвращаюсь в это прошлое, шагая по шпалам железнодорожного пути. На слиянии двух рек, Волги и Оки, меня задерживает раздумье и излишек досуга. Водяная поверхность покрывается салом, прибрежье белеет, – и по льду, лениво вытянувшись, располагается санный путь. Тогда я меняю маршрут и иду на Самару и Уфу. На станциях продают кустарные изделия из чугуна, слюды и каменной соли: рядом чертик и Евангелие. Наполнив ими дорожный мешок, я палкой помогаю себе взобраться на отрог Урала – хотя и на ровном месте уж не обхожусь без легкого посоха. Какие-то воспоминания связаны с Челябинском, – кажется, здесь мы немножко скандалили, отправляясь в первую ссылку. На горном перевале столб: «Европа – Азия». В Екатеринбурге с детской страстью я любуюсь переливчатыми камушками, горками горного хрусталя и почками малахита. Черные прожилки на темной зелени пробуждают непонятное беспокойство, и мне хочется скорее добраться до еще более знакомых мест. Обратный столб «Азия – Европа», потому что раньше был только этот кружной путь из Москвы на родину, и он был прекрасен. Запушенные снегом бесконечные лесистые кряжи, нетронутая природа, чистый воздух орлиных

гнезд. Путь к камским берегам ведет по понижающимся отрогам, тропинками, протоптанными арестантской беглой шпаной. Поздним вечером я разыскиваю деревянный дом и вижу в окне свет знакомой лампы. Дверь не заперта, но я не сразу решаюсь войти; за дверью слышен как бы удар молоточком: женская рука разбивает кедровый орешек осколком малахита. Котенок играет клубком, уже размотанным почти до конца, и его лапы путаются в нитках. Я захожу лишь на минуту – передать привет от нового «милостивого государя», который очень прилежно слушает лекции. Глаза женщины отрываются от пасьянса, но я уже снова на большой дороге, ведущей из города, мимо кладбища, в глубь леса. Привет черепу бедного Йорика! Детьми мы делали из деревянных рогаток и каучуковых трубок отличное орудие, которым разбивали чашечки телеграфных столбов на сибирском тракте – не зная, что это называется преступлением. Поворот к деревне мне знаком, как прежде: березовая опушка и глубокая колея в сторону на четвертой версте. Совсем внезапно пришла весна, над полями уже голосят жаворонки. Воз, нагруженный всякой домашней утварью, увенчан самоваром в руках моей нянюшки, мы с тою же медлительностью следуем на извозчике. Первый визит на косогор с клубникой – с него спуск к речке. Отец носил летом костюм из чесучи и широкополую соломенную шляпу. У меня за плечами мешок с приборами: коробки для растений, совочек для их выкапыванья с корнем, еще разная разность высокого назначения. Иногда брали заступ – когда шли открывать родники. Временный желобок отец делал из бересты; всегда с нами резиновый стакан пробовать воду, сладка ли, – она всегда была сладка и освежающа!

Разматывая клубок ниток, чтобы перевязать пучок листьев папоротника, я замечаю, что клубок истрачен и его нити воспоминаний не хватит на дальнейший откат к детству; теперь это делается проще обратным ходом кинофильма. Мы выбираем сырой склон, где особенно пышна растительность и богаты мхи. Отец налегает на заступ городским башмаком, и мы ждем, не появится ли в ямке вода. Мне хочется, чтобы эта картина была последней, потому что она мне очень дорога. Краски ту-

манятся, в глазах рябит дрожащая сетка, и последнее, что я слышу и помню, – очень серьезный и очень убедительный голос, который говорит мне, как совсем взрослому:

– Вот и еще один родник свежей и здоровой воды. Мы сделаем желобок, и кто-нибудь, напившись, помянет нас добрым словом. Куда потечет эта вода?

Я уже знаю и подсказываю скороговоркой:

– Отсюда в речку, из речки в Каму, из Камы в море, из моря вернется сюда же легким облачком…

Отец смеется, достает резиновый стакан и первым пробует воду. Затем отпиваю я, и занавес бесшумно опускается.

Молодость

Страсть превращать чистый лист бумаги в суету скользящих строк с зачеркнутыми словами и надстрочными добавками, вечно вязать нескончаемое кружево мысли и слов, – эта неизжитая страсть, перешедшая в привычку, побуждает меня продолжить записки о жизни. Но если детство и юность, всегда овеянные поэзией, вспоминались с легкостью и для них находились избранные слова, то в зрелые годы – это уже не картинки, не туманная акварель, вольная игра кистей и красок; и это не написанная и отложенная в сторону книга. Их не отделишь с простотой и полным спокойствием от дня сегодняшнего, который просится в последнюю графу человеческих сроков, в рубрику подкравшейся старости, – что ни говори, как ни старайся преувеличением недугов вызвать возражение зеркала: «Вы удивительно сохранились, это только случайная слабость, которая пройдет». На жизни поперечные трещины, она давно распалась на части, и не все в ней кажется действительным и своим. Есть такое насекомое медведка, маленький жестокий вредитель-корнеед; огородники уверяют, что разрубленная пополам острой мотыгой медведка, прожорливость которой знаменита, иногда съедает отделившуюся часть своего туловища. Со мной постоянно происходит подобное: отрезок отдаленного прошлого перестает быть своим, он кажется выдумкой, литературным материалом, и, если исключить его из жизни, я не почувствую ни боли, ни сожаления. Мне кажется забавным этот белобрысый московский адвокатик, отрастивший для солидности бородку и носивший много длинных званий, почтенных и неудобопроизносимых: «помощник присяжного поверенного округа Московской судебной палаты», «присяжный стряпчий коммерческого суда», «опекун суда сиротского», «юрисконсульт общества купеческих приказчиков», «член общества попечительства о бедных» и многое еще. В возрасте двадцати пяти лет мы были и считались взрослыми. Я говорю это нынешним тридцатилетним, сорокалетним мальчикам, все еще безответственным и неустроенным в жизни, говорю не в укор и не в

поученье. Жизнь осложнилась, непомерно удлиняется и период к ней подготовки. Сорок лет казались нам пределом молодости и живой силы. В этом возрасте люди уже успокаиваются и хотят, чтобы все кругом было устойчиво и неколебимо, а мы жаждали движения и бунта. Свои профессии мы считали общественным служением и не хотели замыкаться в технической узости, были непременно романтиками и, конечно, революционерами. Позже, в эмигрантские годы, живя в Италии после крушения революции пятого года, я попросил однажды приятеля, итальянского адвоката: «Укажи мне хороший курс итальянской литературы». Он удивленно ответил: «Я не филолог, я юрист». – «Мне не нужно книг специальных, укажи обычный хороший учебник». Он повторил: «Да ведь я же адвокат, откуда мне знать?» И я понял, как мы отличались от европейцев своим отрицанием специальности, своей жаждой знаний общих. Я, наверное, мог бы указать ему лучший курс хирургии, физики, философии, даже руководства по столярничеству или рыбной ловле. Но и в своей профессиональной области мы не искали непременно карьеры и заработка. Я несколько побаивался больших выступлений и очень любил кропотливые делишки в мировых судах, где была так очевидна помощь юриста бедному тяжебнику, не разбиравшемуся в статьях закона, где было можно героически обрушиться на подпольного ходатая по делам, тянувшего с клиента деньги, невежественного и полного самоуверенности, пока он не сталкивался с подлинным, хоть и молодым, юристом. Я с горячностью и волнением защищал прощелыгу, поклявшегося мне, что он не крал пальто с вешалки и что он – жертва навета. Судья, доверившись моей искренной убежденности, оправдывал моего клиента, который потом приносил мне скромный гонорар: серебряную ложку, очевидно тоже им украденную, а впрочем, она оказывалась фальшивого серебра. Я смеялся, но продолжал и впредь верить. Случайно, по указанию какой-нибудь кухарки, видевшей на двери мою адвокатскую дощечку, вваливались ко мне владимирские мужики, строительные рабочие, бородатые, тяжелоногие, и я вел дело их артели, обиженной подрядчиком,

и чувствовал себя защитником прав трудового народа. Я не брал с них денег и даже тратил от своей скудости, считая честью быть их покровителем и ходатаем; и, выиграв дело, взыскав с нечестного подрядчика недоплаченные им гроши, я сиял радостью и провожал их до дверей, похлопывая по плечу со всей молодой солидностью. Я не хвастаю добродетелью – я был точно такой, как все недурные люди моего времени, из средних общественных классов, – прежде всего «служители правды и справедливости»; это придавало жизни особый вкус и нисколько не мешало нам к сорока годам обрастать более жесткой кожей и переходить в стан удовлетворенных, умеренных, растивших брюшко, но все еще считавших себя и жертвами и врагами «режима». Все же были и такие, которые до старости оставались поэтами, будем к ним справедливы. Еще и сейчас встречаю людей моего прошлого; они помнят слова студенческих песен, они пьют водку, настоянную на перце, вздыхают и куда-то рвутся, хотя жизнь давно приколола их кнопочками к семье, к делу, к бесконечно катящейся по проторенной дороге жизненной тележке. Бесценные товарищи, просчитавшиеся мечтатели, кавалеры осмеянного ордена русских интеллигентных чудаков! Полный к ним нежности, я горжусь своим с ними кровным родством, хотя события личной жизни рано выбили меня из их рядов и вообще из русской жизни и унесли наблюдать жизнь чужую, – только наблюдать, сердцем в ней не участвуя. Я вспомнил о своем кратком, трехлетнем адвокатстве, так как с чего-то нужно начать рассказ о зрелых годах. У меня была приемная, был кабинет, были телефон, пишущая машинка, копировальный пресс, портфель, фрак со значком, настольная библиотека юридических справочников, деловые обложки с моей фамилией, медная дощечка на внешней двери, эмалированная на улице. Я защищал, взыскивал по безнадежным векселям, писал великолепно составленные письма «с совершенным почтением». В швейцарской «здания судебных установлений» был у меня свой крюк на вешалке, с наклеенной над ним моей фамилией, которую швейцар иногда помнил, на вешалку не глядя. Я работал самостоятельно, независимо от па-

трона, ведшего лишь большие дела и не имевшего для меня маленьких. Я выезжал иногда в фабричные городки, где рабочие протягивали мне культяпки рук, искалеченных текстильной машиной, давал купеческим приказчикам советы по коммерческим делам, которые они знали гораздо лучше меня, мирил наследников, полюбовно поделивших доходные дома, но поссорившихся из-за произвольно зарезанной свиньи и кучи старого железа, опекал сирот, бродил по камерам участковых судей и квартирам судебных приставов. У меня была недорогая, но солидная шуба и боты, шаркавшие по снежной московской мостовой, и об одном проведенном мною деле была газетная заметка. Но очень скоро на диване в моей приемной стали спать по ночам подозрительные люди, бежавшие с политической каторги, на машинке отстукиваться тексты пылких и буйных прокламаций, которыми затем набивался мой адвокатский портфель, квартира стала служить для явок и сборищ, мое звание – для прикрытия общения с самыми разнообразными молодыми людьми, мало похожими на клиентов.

Был 1904 год. Наступил и 1905 год – год Московского вооруженного восстания. Не будет последовательности в моей жизненной повести. Нет, я не буду рассказывать о революции. Вообще не буду рассказывать – мне хочется рождать образы прошлого, дав им полную свободу. Мы живем в последовательности дней, месяцев и годов; но, оглядываясь на прошлое, мы видим путаницу событий, толпу людей, нагромождение сроков и дат. В бывшем есть реальное и есть кажущееся, прежде важное стало ничтожным, маленький случай вырос в Гималаи, легкий мотивчик песни запомнился в укор стершейся в памяти симфонии. В воображении я ищу друга тех времен, молодого и полного надежд, и он, потирая старческую поясницу, досадливо кивает мне издали на друзей позднейших, давно его заменивших; я ищу женщин, но их карточки выцвели, съеденные солнцем и временем, и даже от прежних икон остались только потухшие лампадки с плавающими в деревянном масле мухами. Есть счастливцы, прожившие весь свой век в одном доме, в одной квартире, все в тех же комнатах, стены которых дышат их

дыханием и привычно отражают звуки их слов; их письменные столы, регистраторы, ящики их комодов, кладовые наполнены прекрасной рухлядью вещественных доказательств их быта. Другим удается по всему свету таскать за собой огромный, по углам лоснящийся кожаный чемодан с наклейками гостиниц, таможен, с царапинами сотни вагонных полок и багажных складов, – чемодан, вмещающий самое ценное, ветхое и новое; трогательную собственность, внешний оттиск внутренних переживаний, воплощенье жестов и дум, суету и кутерьму остывших страстишек, сокровенную ненаписанную историю. У меня ничего этого нет, хотя я очень люблю вещи и вещицы. Все, что меня окружает, до неприличия молодо, ему не больше года. В груде писем только недавние даты, и эта единственная рукопись только сегодня начата. Так бывало не всегда, но время от времени так случалось: спасшись при очередном кораблекрушении, я подплывал к незнакомому берегу и из веток незнакомого дерева строил очередной шалаш. Затем, осмотревшись, Робинзон вырубает хижину, находит и сеет семена хлебных злаков, приручает козу, знакомится с Пятницей. Но с Робинзоном Даниэля Дефо это случилось только раз, – как прочны были раньше общественные устои, как была несложна человеческая жизнь! Затем он вернулся на родину и пустил в мякоть кресла прочные корни. Он пил настоящее вино, или эль, или сидр и мозолил ближним уши рассказами о своем необычайном приключении, пока Пятница неистово врал о том же в кругу знакомой соседской прислуги. Вариант – Дон Кихот и Санчо Панса; романы должны кончаться хорошо. В действительности люди богатой жизни нередко умирают на промежуточной станции или под забором, – но не стоит говорить чувствительно. У меня много времени, и, если вы столь же свободны слушать, я расскажу случай, до которого в порядке последовательности вряд ли добрался бы, так как он заимствуется из истории самой свежей катастрофы, впечатления которой не изгладились. Но для начала рассказа я должен откатиться лет на восемьдесят назад, к шестидесятым годам прошлого века. Мой отец, молодой юрист, провинциал, увидал

в театре, в ложе уфимского губернатора Аксакова, красивую девушку, только что приехавшую в город. В тот же вечер он перегнул пополам длинные листы писчей бумаги и начал писать дневник, обращенный к этой незнакомке, – дневник любовных страданий. Он владел пером лучше, чем чувствами, и повесть о его любви сохранилась среди его бумаг и перешла по наследству ко мне, тем более что предметом его любви, казавшейся столь же страстной, сколь и безнадежной, была его будущая жена – моя мать. Тетрадь пожелтела, сохранив все благоухание юности; она озаглавлена «Мои бредни», и нить романа обрывается в ней на первых встречах и первом ощущении полной безнадежности. Случай спас эту тетрадь при трех моих жизненных крушениях: всякий раз она неожиданно выплывала из небытия и снова оказывалась в заветном ящике моего стола. Убегая из Парижа, которому грозило унижение, я был вынужден оставить там все, что было мне дорого. Полчища Атиллы захватили город, и мои рукописи, мои книги привлекли их внимание; за полторы тысячи лет гунны не изменили своих привычек и своего вкуса к грабежам. Когда моим друзьям удалось проникнуть в ограбленную квартиру, они не нашли в ней ничего, кроме лежавшей на полу, среди мусора, старой тетради, которую подобрали, чтобы передать мне, когда мы увидимся, – если увидимся. Это был дневник моего отца, единственная, чудом сохранившаяся семейная реликвия. Вы видите, как судьба, порывая крепчайшие связи, не стесняясь никакими кощунствами, заботливо или насмешливо сохраняет нам щелочку для дыхания, предлагая в личной жизни продлить историческое бытие. Со мной нет этой тетрадки, но она меня ждет и не позволяет мне сказать, что прошлого не было и что жизнь зародилась вот в этом крестьянском домике, в окна которого настойчиво заглядывает французское солнце. Я подчиняюсь и продолжаю писать повесть долгих лет.

Если где-нибудь уцелела хоть часть моего жизненного бараxла – в каких-нибудь важных учреждениях политического сыска, да будут они все прокляты вместе с их изобретателями! – то среди вещей, вещиц и бумаг могла бы оказаться фотография

молодого человека, худого, долговолосого, в платье с чужого плеча. Он сидит в саду, в плетеном кресле, и направленный на него объектив аппарата нипочем не уловит его душевного состояния. Это я, вышедший только что из московской Таганской тюрьмы и скрывшийся на даче у знакомых – лишь на два дня. Меня выпустил под залог следователь, свидетели которого отказались меня признать, но узнать о моей свободе могут жандармы, уже приговорившие меня к ссылке в Сибирь. Русские учреждения по подавлению личности были сложны и работали не всегда дружно; вероятно, сейчас эта часть поставлена более образцово в новом царстве свободы. Во всяком случае, завтра я пущусь в дорогу, остриженный и выбритый, и мой путь, с кратким перерывом, продолжится сорок лет.

Только тот знает, что такое свобода, кто знает также, что такое тюрьмы, что такое полметра кирпичной стены, отделяющей от вольного воздуха. Хлопанье тяжелой, обитой железом дубовой двери и поворот ключа. Равнодушие видавшего виды тюремного сторожа. Ломкость ногтей, царапающих стену. Бессилие ненависти, – а ведь мы проповедовали любовь всех ко всем! Керосиновая лампа в клетке под потолком, сестра-узница. Мука бездействия. Прислушиваясь – слышишь тишину, кажущуюся стоном. А может, все это только кажется? Закрыв глаза – ждешь чудесного прозрения, открыв – видишь те же стены с небрежно забеленными известью надписями предшественников. Но одна ускользнула от внимания – на обороте деревянного табурета: «На воле я друзья очень был мало жизнь проклятая заела». Писал, должно быть, вор-рецидивист. В высокое окно заглядывает голубизна отнятого неба; в проделанную в двери дырочку, откинув внешнюю заслонку, смотрит глаз надзирателя – не повесился ли заключенный. В список проклятий молодой юрист вносит: закон – произвол – суд – право – насилие – государство, все в одну рубрику, без разделов и оттенков. Сумасшедшие люди, во что превратили вы жизнь – такую радость, такое благо! Сжать виски, чтобы самому не сойти с ума. Вот так звери в зоологическом саду меряют шагами пол клетки, механически занося ногу при поворотах, всякий раз ступая на свой

прежний след. Это мои братья – и вор-рецидивист, и пантера, и мартышка, и канарейка. Отчего же сюда не приводят детей – показать им их будущее? Как-то я увидал в парижской газете фотографию слона, убившего сторожа зверинца; я вырезал портрет слона и хранил с любовью, хотя в то время уже много лет прожил без решетки. За яд, который вы влили в мою кровь, – и уже нельзя ее очистить, я всю жизнь старался это сделать! – за этот яд я высекаю на камне, выжигаю на дубовой доске, отливаю в свинцовые буквы свой список проклятий, с тех дней до пределов маленькой человеческой вечности. У меня нет слов, или, наоборот, я боюсь ими захлебнуться. И если бы моего палача посадили под замок, я сорвал бы замок и с его двери.

Бессильны мои строки, мои выкрики. Старый писатель, я отлично знаю, что лишь спокойными, взвешенными, может быть, расчетливо-злыми и ядовитыми словами можно передать свои негодующие мысли; крик ранит только детей и женщин. Но я пишу не произведенье – я пишу жизнь. И мне трудно обойтись без отступлений. Насколько легче писать о других, шить платья на марионеток, ниточками которых играют пальцы!

Дальше – только пятна памяти. Я в сером пальто и серой, на лоб надвинутой кепке, в своем тщательном маскараде больше всего похожий на человека, который своим таинственным видом хочет привлечь внимание, то есть хочет того, чего меньше всего хотел бы. В Петербурге прямо с вокзала на финляндский пароход. Со мной нет никаких вещей; впрочем, у меня вообще ничего нет, потому что мое прошлое зачеркнуто, а за время моего пребывания в тюрьме все, что не было украдено полицией, украдено дочиста, до последней нитки, другими профессиональными ворами. И на этих последних я не обижен: они – мои братья по тюрьме, и от них я отличался только гражданской одеждой и одиночной камерой. Я родился в середине великого пути, который проложен через всю Россию в Восточную Сибирь; служил раньше, служит и посейчас. Через мой родной город гнали пешком арестантов, доставленных по реке на барках. Так и говорилось: «гнали»; говорят так про скот и про лю-

дей необычной, бунтующей воли. Арестантские песни были у нас в почете. Вообще мы, русские, странные люди. Когда на европейской улице ловят преступника, обыватели в этом помогают; у нас радовались и помогали любому побегу. Наши сибирские крестьяне называли арестантов «несчастненькими», купцы и богомольные старушки посылали в тюрьму чай, сахар и калачи. В Париже я долго жил близ тюрьмы Сантэ и никогда, проходя мимо нее, не упускал подумать: как было бы хорошо взорвать эту высокую ограду и посмотреть, как во все стороны разбегутся заключенные! Среди них немало негодяев, хотя, конечно, не больше, чем среди тех, кто их лишил свободы. Я охотно спрятал бы у себя бежавшего из тюрьмы бандита. После он, вероятно, обобрал бы меня, может быть, прирезал; но, конечно, не это может меня остановить. Вам такие слова покажутся назойливо-дерзкими, такие мысли парадоксальными; но от вас, защитников принципа свободы личности, я отличаюсь только последовательностью и откровенностью.

На пароходе я притворился иностранцем, вернее – немым. Перегон был невелик, и в Гельсингфорсе я был по-настоящему свободен. Еще просыпался ночью при малейшем шорохе: мне казалось, что сейчас загремит ключ в замке тяжелой двери или дежурный уголовный арестант откинет в этой двери форточку и весело крикнет: «Кипяток!» Но утром гулял по Эспланаде и любовался румянцем и сытым видом финнов и шведов. В порту пахло рыбой и йодом. Если бы не застенчивость, я вспрыгнул бы на уличную тумбу и, взметнув руками, закричал: «Сейчас улечу – я свободен!» Я был почти в Европе; и Европа казалась мне… я еще совсем не знал Европы. Я только что родился. Финляндия – прекрасная девушка, у которой двуглавый орел хочет вырвать книгу ее законов; эта картина висела в моем адвокатском кабинете. И вот я в Финляндии.

У меня нет при себе не только любимых старых вещей, книг, материнского портрета и дешевого, стоимостью в одно су, купленного на базаре колечка, которым мы, шутя и серьезно, обручились с моей будущей женой, – у меня не осталось даже образов жизни, не использованных вразброс по моим книгам и

очеркам. Все, что я сейчас пишу, мне кажется уж рассказанным когда-то, по какому-то случайному поводу, – мы так нерасчетливы, бедные трудовые писатели. Какой-нибудь придуманный человек на страницах моей книги, наверное, смотрелся в спокойную воду у берегов Финского залива, жил на островке финляндских шхер, дышал воздухом, напоенным хвоей, и, торопливо раздевшись, бросился вниз головой с вылизанного временем и волной камня в полусоленую воду, чтобы побыть некоторое время в славном обществе щук, карасей, корюшек и салакушек. Не без удивления он спрашивал почтенную хозяйку, для чего она привешивает светлую шерстинку к висячей люстре и почему так часто ее меняет, – и проникался уважением к чистоплотности отменного народа, узнав, что это – скромная уборная для мух, любящих садиться снизу на висящие предметы. Может быть, я даже рассказал где-нибудь, как по улицам финской столицы бродили русские сыщики, принюхиваясь, не пахнет ли в каком-нибудь подъезде дома динамитом, который в спальных подушечках или под корсетом провозили в Петербург революционные девушки, одетые светскими дамами, заставляя дрожать министров и обитателя Зимнего дворца. Мы жили в Финляндии недолго, меньше года, и я не успел обрасти вещами – помешала бедность и мечта о скором возврате в коренную Россию. Но вышло иначе, и однажды пришлось торопливо собраться и погрузиться на пароход, отплывавший к берегам срединной Европы; Финляндия лишь в слабой степени пользовалась автономией управления, и положение русских политических беглецов не было в нем прочным.

Европа именуется великой страной, но для нас, привыкших к пространствам, она лишь маленький мирок, правда, тесно заселенный и насыщенный историческими словечками. Она суетлива, буржуазна, домовита и считает минуты за время – мы швыряемся часами и днями, не придавая им ценности. Она утонула в предметах собственности, которыми каждый в ней дорожит почти так же, как жизнью, – нам, голым героям, это казалось смешным. Но она, тогдашняя (уже давно нет той Европы), очаровывала нас свободой, какой мы никогда не знавали,

ненужностью паспортов, возможностью громко высказывать свои мысли и, не перекрестясь, перешагивать границы. Мелькнула Дания, затормозился поезд на франкфуртском вокзале – и вот белым корабликом заколебался лебедь на Женевском озере. В калейдоскопе прыгали и пересыпались разноцветные стеклышки. Это и есть Монблан? Какое нагромождение прекрасных безделушек на нашем пути! Еще так недавно я проводил по пять суток в вагоне, чтобы навестить свою мать в дни университетских каникул; здесь в сутки мы пересекали несколько государств. Мы обращали на себя внимание и внешним видом, и громким говором; это так естественно: возвышать голос в Киеве, чтобы слышно было в Москве и чтобы откликнулись в Иркутске и Владивостоке. Мы не привыкли к миниатюрам. Я живу в Европе тридцать лет, ее масштабы давно мне знакомы, – но до сих пор иногда ощущаю себя слоном в игрушечной лавке. Франция, например, очень почтенная страна, но все же она меньше губернии, в которой я родился; губерний в России было восемьдесят. Я пишу это, конечно, не без гордости. Я не дружу с правительством нынешней России, как не дружил с правителями царской, как не свел бы дружбы и с «временным», если бы оно обратилось в постоянное, чего, к счастью или несчастью, не случилось. Но на карту Евразии я очень люблю смотреть, вымеряя пальцами какую-нибудь горделивую страну и пытаясь впихнуть ее в уезд Пермской губернии, который на лошадях, дважды в год, объезжал мой отец по своим судейским делам, прихватив служащего и мешок с морожеными пельменями. Что скрывать – российское «мы-ста» во мне живет прочно. Вот добраться бы хоть сейчас до границы да кувырком через голову прокатиться «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», легонько зашибив свой хребет об Уральский. Громадна наша страна, и я понимаю европейцев, которые называют Сибирь русской колонией: им завидно, а Сибирь самая подлинная Россия, ее не оторвешь. И мы – люди большого роста, крепкие и здоровые, равно привыкшие к жаре и морозу. Если бы Россия не была из века в век деревянной и горючей, она задавила бы мир архитектурой и историей, как давит и

смущает литературой и музыкой. Но ее настоящая история вся впереди, и старым я хвастаю только так, для сведения счетов с мурашиками, называющими нас «нежелательными иностранцами»; я не сержусь на этих мурашей, зная, что они все равно мне поклонятся, а я, по природному нашему великодушию, протяну им не два пальца, а всю пятерню – мы народ отходчивый.

Я люблю в Европе северян. Мы родня. Возможно, что есть во мне и татарин, но, во всяком случае, есть варяг. Мы пропахли смолой, мы одинаково молимся и лешему, и водяному. Князья и викинги, мы равно землепашцы, охотники, рыболовы, люди простые, без дурацких феодальных замашек, без кичения голубыми кровями, без поклонения гербам, – природные демократы. Только мы знаем, что такое весна; и журчаньем ручьев, стрекотом мушьих и жучьих крылышек озвучена и наша, и скандинавская литература. Из сердец наших – ударь кинжалом – брызнет кровь, а не немецкое пиво, не французский сидр и не патока с примесью курортных вод. Думаю, что на этом можно и закончить восторженное бахвальство.

Оно несколько отвлекло меня от картин бегущей ленты кинематографа. Снега Савойи. Сен-Готардский туннель. Поезд вылетает на вольный воздух и катится под гору, прямо от зимы на лето. Теплая ночь в отеле - от мельканья чужих пейзажей и усталости голова плохо соображает. Но наутро в распахнутое окно врывается столько солнца, сколько может его уместиться в сознании, и я впервые в жизни вижу апельсин не в магазинном ящике, а на ветке. Это Нерви, итальянский прибрежный городок, позже мне отошневший. В полдень местный поезд увозит нас в другое местечко на той же Ривьере, где уже снята вилла для небольшой компании русских беглецов.

Я не Бедекер[29], чтобы отмечать звездочками места, где жил и был, да и звездочек, пожалуй, не хватит на моем закатном небе.

[29] Я не Бедекер – то есть не автор путеводителей, по имени Карла Бедекера (1801–1859), известного издателя справочной литературы для путешествующих.

Италии, роману моей молодости, я посвятил и книги, и осколки книг, все это укатилось в прошлое, и Италия теперь не та, даже имя ее звучит по-иному. Черноглазая девушка захотела стать синьорой, а я любил именно черноглазую девушку, любовью северянина, пригретого чужим солнцем. Спасибо, дорогая, за десять лет ласковой дружбы! Я понимаю, что нельзя вечно оставаться цветочницей на Испанской лестнице или плясать тарантеллу. Та девушка с затибрской стороны Рима, работница табачной фабрики, получившая приз за красоту – за действительную, непобедимую, всепокоряющую красоту, – тоже впоследствии вышла замуж за европейского комиссионера, представителя фирмы моторов. Все это меня мало касается, и моя любовь была платонической, может быть, даже простой благодарностью. В ватиканском музее есть жертвенник рождающейся Венеры – я его называю по-своему, – и руки прислужниц помогают богине покинуть морскую пену. Выйдя, она наденет современный костюм и будет принимать в своем салоне дипломатов и изобретателей патентованных государственных систем. Мне-то что за дело! Я видал этих людей сотнями; они продаются в лавочках всемирной истории. Но Венеру, с живого мрамора которой нежной тканью сбегает вода, я не обещал забыть, – o gioventu, primavera della vila![30] Среди двухрядных перлов блеснул золотой зуб… Раскланиваюсь издали и отхожу, потому что у нас есть свой собственный истукан и, по совести говоря, азиаты умеют чище оттяпывать головы тем, кто им не по вкусу.

Немало горечи в моих словах. Amor che a nullo amato amar perdona…[31] Но времена поэзии прошли. Три этажа дантовской поэмы уже соединены подъемной машиной, и мальчик, одетый в черную рубашку с галстуком, выкрикивает: il purgatorio, avanti

---

[30] Юность – весна жизни! (итал.)

[31] Любовь, любить велящая любимым… (итал.)

chi scende![32]. Я выхожу, не дожидаясь обещанного рая, куда уже поднялось достаточно европейских народов.

Уклоняюсь от соблазна писать историю виллы «Мария» на средиземном побережье, чтобы не обратить моей повести в усердную хронику. Но в памяти жив скат к морю обширного сада, запущенного, разросшегося, в котором пестрели цветы и наливались плоды без ухода, по воле; часть сада нависла над выходом из железнодорожного туннеля, откуда с внезапным грохотом и лязгом вырывались поезда и снова проваливались в тишину. Сад кончался голыми скалами, по которым шла вниз тропинка к небольшому заливу, нашему собственному, отовсюду закрытому. Пляжа не было – в голубую воду гляделись глыбы серого острого плитняка, они же синели под водой и жались к берегу. В бурю заливчик обращался в кипящую кастрюлю, вода выбрасывалась на большую высоту и соленая пыль через весь сад залетала в наши окна. Летом мы купались трижды в день, были среди нас охотники и до зимнего купанья. Все мы были работниками, писали статьи и книги для российских издательств, жили скромной коммуной, дивили итальянцев количеством выкуриваемых папирос и получаемых и отправляемых писем. В десяти комнатах сменялись проезжие гости, преимущественно беглецы, иногда из сибирской каторги. У меня было особое пристанище – заброшенная домашняя капелла с каменной Мадонной на престоле, служившем мне складом книг и рукописей. В раковине при входе, в воде не благословенной, зеленели «волосы Венеры», кудрявая травка, обильно росшая в нише подземного ручейка, вытекавшего из сада. Здесь я проводил летом ночи за работой до утреннего общего купанья, здесь же в полутьме и прохладе отсыпался днем. У каждого были свои привычки и свой образ жизни, но полуночниками мы были все и нередко под утро собирались в нашей обширной кухне и устраивали «макаронаты» с фьяской красного вина. Общей болезнью была ностальгия, но мы старались быть бодрыми и щедрыми на шутки. Коммуну возглав-

---

[32] Вперед тот, кто спускается! (итал.)

лял старший из нас по возрасту, известный экономист; заботливо находивший нам работу, человек одинокий и большой труженик, подобно нам выброшенный за борт русской жизни. Из России получали невеселые письма, убивавшие в нас надежду на скорый возврат. Это было время «огарков», когда молодежь в России, отойдя от революции, бросилась прожигать жизнь в пьяном наркотическом угаре, в половых опытах, в кружках самоубийц; эта жизнь отражалась и в литературе. Когда вести были слишком безнадежными, можно было выйти ночью в сад, лечь навзничь на ступенях или на доске садового стола и смотреть на чужое звездное небо. В день жаркий я выбирал в саду разросшееся фиговое дерево, устраивался удобно и покойно среди его ветвей, ел накаленные солнцем, сочившиеся сахаром фиги и дремал. На высоком обрыве через мою голову пролетел вниз человек; я вскрикнул и увидел, как он уцепился руками за выступ площадки и, смеясь, повернул ко мне скуластое лицо; он хотел испугать меня, но не рассчитал прыжка; он был отцом двоих детей и видным литературным и партийным работником. Другой спустился к заливу в сильный прибой и решил выкупаться в пене; волна прокатила его по острым камням, окрасилась его кровью и выбросила его на уступ, где в спокойные дни выпаривалась соль из стоялой морской воды; недели через три он снова мог купаться. Мне захотелось подняться в сад от самого моря по крутому отвесу метров в тридцать высоты. Было жутко, но занятно попытать судьбу. На середине подъема посыпались камни, и мои ноги повисли в воздухе; одна рука еще цеплялась крепко за камень, другая искала опоры выше. Если испугаться, то погибнешь. Затем камень, за который я держался, стал уступать и медленно отделяться от земли; в то же время нога нащупала новую опору. Я не велел ногам дрожать, потому что тогда хотел жить. Я спасся и наверху долго лежал на траве. Мы шутили с морем, со скалами, с жизнью. У одного из наших гостей пришлось отобрать револьвер, но ему вернули, когда он обещал не порочить нашей мирной виллы. Было ясно, что дальше так жить нельзя, что нас не спасет работа, и мы решили разъехаться: часть в недальнее

местечко, часть в Париж, часть тайно в Россию. Молодой астроном, долго живший с нами, талантливый человек, нежный поэт, полиглот и красавец, простился первым. Через Париж он уехал в Петербург с паспортом итальянца. Он выдержал стиль, и я получил от него письмо, написанное накануне казни, лишь в одну строчку: «Saluti dall'altrove»[33].

В какой-то день я взбирался по крутой лестнице на пятый этаж дома, населенного мелкими чиновниками и рабочими в Риме, против ватиканской стены. Синьора Эрнеста и синьор Карло, у которых я снял комнату, оказались приветливыми хозяевами, их слуга и друг Серафино стал моим другом и слугой. Из окон комнаты еще были видны пустыри Prati di Castello[34], теперь давно уже застроенные. Я был к тому времени одинок в Риме и в мире. На мне был легкомысленный серый летний костюмчик, купленный в Генуе на базаре за шесть франков, – была зима. Багаж состоял из чемодана с бельем и пишущей машинки, сохранившейся с адвокатских времен. Для моих хозяев я был «sor avvocato»[35], для самого себя – писателем, не написавшим ничего путного, но готовым начать карьеру. Пока я жил газетными статьями, которые посылал в Москву. На моем литературном счету несколько изданных книжонок, не стоящих памяти, и влеченье к перу, сказавшееся еще на гимназической скамье. Мне было ровно тридцать лет: еще вполне мыслимое начало новой жизни.

И новая жизнь началась.

В своей зрелой жизни я умышленно пропускаю целую большую область чувств, обманчивых или значительных, не раз эту жизнь осложнявших. Она изжита и зачеркнута одним поздним чувством, с которым я закрою глаза. В кольцах цепи осталось и останется только одно грошовое колечко с каплей красного сургуча вместо драгоценного камня; всему остально-

---

[33] «Привет с того света» (итал.)

[34] Луга Кастелло (итал.)

[35] Сеньор адвокат (итал.)

му – почтительный поклон; его я не потревожу напрасными строками.

Я прожил восемь лет в Вечном городе, теперь ставшем городом современным; его вечность подчищена и подбрита, окружена решеткой, занесена в регистр, украшена дощечкой с красиво вырисованной надписью. Раньше в нем слитно жили века, кузнец ковал железо в театре Марцелла и забивал гвоздь в вековой камень, не догадываясь о своем кощунстве; кошки плодились на Форуме Траяна, прохожий шагал по земле, наросшей на остатках храма. Это было красиво и непрактично, как все красивое. Бойкие молодые люди, над которыми пытались смеяться, открыли поход против Рима, против веков, против академии и лунного света – за солнце и мотор. Крикливые гуси спасли Рим древний и погубили его в современности. Однажды русские невинные экскурсанты, приехав в Рим, вошли ночью в Колизей и запели хором «Вниз по матушке, по Волге»; так поступить могли только милые дикари. Сейчас на Капитолии уместна фашистская «Джовинецца», гимн работы опереточного мастера, – и только Ватикан остается крепостью старой, слишком старой веры.

Я очень любил Италию и прилежно ее изучал, не музейную, а современную мне, живую, Италию в труде, в песне, в нуждах и надеждах. Я написал о ее жизни две книги и рассказывал о ней в сотнях статей, печатавшихся в России. Города Италии были моими комнатами: Рим – рабочим кабинетом, Флоренция библиотекой, Венеция – гостиной, Неаполь – террасой, с которой открывался такой прекрасный вид. Мне были одинаково знакомы север и юг, Ривьера и каштановые леса Тосканы, лики Джотто в Ассизах и фреска «Sposalizia»[36] в Витербо. Я уходил писать в домик Цезаря на Форуме – еще были целы в домике шесть дубков, слушал орган во Фьезоле, тонул в бурный день при выходе из каприйского голубого грота, брал приступом с генуэзскими рабочими портовые угольные насыпи, негодовал с толпой в дни казни в Испании Франческо Ферреро,

[36] «Венчание» (итал.)

томился на процессе каморры, бродил по доверху наводненному вулканическим пеплом местечку Торре-дель-Греко, вешал на шею змей на празднике Сан-Доменико в Абруццах, забывал все современное в стенах Лукки, отличал вино Фраскати от его орвьетских и каприйских соперников, дружил с одноглазым Пиппо, певцом кабачков, просидел диван в кафе Аранью. При мне родились в римском музее «Девочка из Анцио» и «Киренаикская Венера», которая, конечно, никогда Венерой не была. Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак pizzi[37], на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой.

Я скоро оброс книгами и вещами, выселил из квартиры своих милых хозяев, оставив при себе Серафино. В Рим приезжало много русских, которые навещали старожила, и связь с Россией была прочна – хотя заочна. Вернуться я не мог – для этого потребовалась война, всколыхнувшая прежнее чувство и придавшая решимости. Я так привык к Риму и своей новой оседлости, что даже в недолгих отлучках скучал по Палатину, по обрубкам Пасквино и Марфорио, по звучной речи и знакомому кабачку, где много лет кормил меня макаронами и горячим zabaione[38] толстый падроне сор Анджело, и так свежа была вода лучшего акведука. Только летом я ненадолго изменял Риму для пляжа Средиземного моря, да иногда московская газета посылала меня прокатиться на Балканы или по Европе, готовившей войну. Тогда я обнимался с черногорцами, сочувствовал восставшим албанцам, слушал в Загребе жалобы хорватов на сербов и мадьярский архитектурный стиль, осаждал с болгарами Адрианополь или просто удивлялся Парижу, катался на лодке по швейцарским озерам, сидел перед кружкой в мюнхенской пивной.

---

[37] Пицца (итал.).

[38] Заварной крем (итал.)

Вероятно, я был счастлив, хотя и считал себя изгнанником и страдальцем. Были и сложности в жизни человека, еще слишком молодого, чтобы дорожить одиночеством. Но когда, взяв палку, хлеба и козьего сыра, я уходил с морского побережья в горы, где так свободно дышать и в редких домиках живут необычные, совсем не знающие других миров люди, когда я, пройдя день, засыпал ночью в случайно найденном шалаше, – мог ли я не быть счастливым, проснувшись под утро от горного холода и увидав туманы в ущельях! Я бормотал малосвязные слова или напевал песню, уже не русскую, русские забыты, и опять шагал все равно куда, чтобы скорее согреться. Для здоровых ног был одинаково легок и подъем, и спуск, а проводник мне не был нужен: можно ли заплутаться в карликовой стране уроженцу тысячеверстных лесов? И вся Западная Европа – не резная ли табакерка, умещающаяся в кармане?

Затем опять – дом, моя уже немалая библиотека, знакомый труд и музыка отчетливой римской речи, отличиям которой я учился подражать, чтобы быть настоящим Romano di Roma[39]. Любезнее Данте мне были сонеты Белли и Чезаре Паскарьелла[40] да римские stornelli[41], порой будившие по ночам.

Кабачок сора Анджело назывался Roma sparita – «Исчезнувший Рим». Обширная полутемная комната, в которой сидели только в ненастную погоду, и дворик, образованный высокими зданиями и превращенный в виноградник. В стены влеплено несколько античных барельефов, может быть, найденных хозяином в Римском поле, а может быть, купленных на одной из фабрик античных осколков, которые продавались англичанам за подлинные. В углу фонтан чистейшей воды, в

---

[39] Римлянином из Рима (итал.)

[40] Белли – Джузеппе Джоакино Белли (1791–1863), итальянский поэт, автор цикла «Римские сонеты», написанного от лица людей из народа и направленного против представителей знати, духовенства, чиновников.
Паскарелла – Чезаре Паскарелла (1858-940), итальянский поэт, отличавшийся интересом к народной жизни.

[41] Народные песни (итал.)

клетке редкая птица – сорока, подобранная со сломанной ногой. В дни бедности, как и в дни благополучия, я был самым верным клиентом «Исчезнувшего Рима», своим человеком: здесь столовался, сюда приводил заезжих гостей – редкий русский писатель, побывавший в те годы в Риме, не знал кабачка сора Анджело. Зимой было тепло и уютно, летом прохладно и уединенно. В последние годы моей итальянской жизни в кабачке обедали в летние месяцы русские народные учителя, приезжавшие группами по пятьдесят человек; обычно сталкивались здесь сразу две группы, было весело, суетливо, нелепо – кусок России под виноградным навесом. Это были мои дети, их проехало через Рим и другие города Италии три тысячи; мои помощники читали им лекции и показывали музеи, на мне лежала работа организаторская, трудная и отрадная.

Был июнь четырнадцатого года. В кабачке сора Анджело я говорил встревоженным, ничего не понимавшим людям о том, что будет дальше. Люди будут перегрызать друг другу горло, будет потоками литься кровь, валяться куски разорванных тел, перемешанные с осколками металла. Трупы будут сваливаться в братские могилы, море будет выбрасывать мертвых на пляжи, как побитых бурей медуз. Будут разрушаться города и сметаться с лица земли села и деревни; беженцам, нищим, сиротам некуда будет скрыться от ужасов войны. Они слушали, как испуганные дети. Я увез их в Венецию, где ждали еще другие, о которых нужно было позаботиться. Еще нужно было вывезти сюда застрявших в Швейцарии. Нужно было снять целиком два парохода на Одессу и уплатить вперед золотом, которое откуда-то достать. Две недели кошмара и нечеловеческой работы. Когда отошел второй пароход, с которого мне махали платками, я почувствовал себя одиноким, как никогда, – Россия была в войне, скоро могла выступить и Италия, а я оставался за бортом событий, в чужой стране, еще более отрезанный от родины.

Нейтральная Италия – центр европейской информации, посредник всех связей; я завален работой. Промелькнул год. Неотвязная мысль – пуститься в путь кругом Европы и явиться к призыву в России моего класса. Во мне нет никакой воин-

ственности, но десяти лет достаточно, чтобы соскучиться по родным местам и решиться на авантюру. Бросить налаженную оседлость, добрые связи, независимое положение, привычную обстановку, уже немалую собранную библиотеку – и с цветущего юга поехать на север, через еще незнакомые страны, затем на восток, в свою страну, на полную неизвестность, на арест, на ссылку куда-нибудь за Байкал, из Вечного города прямо в вечные мерзлоты, – разве это не блестящая авантюра! Я был привычным путешественником, и путь казался мне заслуживающим внимания и интереса.

Мой поезд провожало несколько римских друзей. Один из них, русский эмигрант, но итальянский адвокат, поднес мне букет красных роз (мы признавали только красный цвет!); от имени всех он сказал мне напутственное слово и обнял на прощанье. Полутора годами позже, в дни революции, я узнал из захваченных бумаг полицейского сыска, что этот человек успел послать донесение о моем предстоящем приезде в Россию: он был агентом тайной русской полиции. Иудино лобзание! Но я не собирался скрываться, я ехал напролом: на родину, не выражая раскаянья, ехал блудный сын; он мог там на что-нибудь пригодиться – или ему могла пригодиться на что-нибудь его родина.

Могла же жизнь начаться снова! Мне не было еще сорока лет.

Я еду с легкой душой и легким багажом: все, что можно, оставлено в Риме. У меня нет почти никаких документов, – но Европа, даже воюющая, еще не приучилась считать человека приложением к его бумагам. Вообще же и я ищу приключений, обогащающих жизнь. Будет о чем рассказывать, будет о чем писать.

Снова оглядываюсь и снова вспоминаю, что было мало моментов в жизни, память о которых я не освободил бы от лишнего груза, занеся их на белые листы бумаги. Не раз писал о столицах воевавшей и нейтральной Европы в те злополучные дни, о Риме, оставленном без большого сожаленья, о печальном в те дни Париже, полном траура, молчаливом, подавлен-

ном и истощенном войной, о бодром и почти веселом Лондоне, хотя и затемнявшем уже свои улицы ночью. Не страшен был переезд через Ла-Манш, не тронуты войной порты Southempton и другой, названия которого я знать не мог, так как из Лондона мы ехали по неизвестному назначенью, в темном поезде с завешенными окнами, и из вагона вышли прямо на мостки парохода, отплывавшего в норвежский Берген. Опять водяной дом, вышедший в море ночью, спасательные пояса, разговоры полушепотом, как будто мог нас услышать неприятель. Исполнилось мое давнее желание хоть поездом повидать Норвегию, страну лесов и горных озер, – она предстала пред нами в утренний ранний час, в полутумане берегов и шхер, и путь через нее был щедрой оплатой за тревожную ночь; впрочем, эту ночь я спал превосходно, отложив в сторону свой спасательный снаряд. Я не собирался тонуть, так как впереди было слишком много интересного, и поездка по Европе казалась пустяком. Осло звался тогда Христианией, серый скромный город, в котором я провел только сутки, но в Стокгольме я задержался на целый месяц: я не настаивал на том, чтобы прямо с русской границы попасть в тюрьму, и решил использовать думские знакомства и влиятельность моей газеты, чтобы на крайний случай подготовить себе если не свободный въезд в столицы, то продолжение путешествия на свой счет, без провожатых и без этапов, до Туруханского края в Сибири, куда, как я узнал, предполагалось сослать меня на пять лет. В самый длинный день в году я был наконец в Хапаранде и Торнео, где солнце скрылось только на час и снова выплыло сонное и неотдохнувшее. При его свете пожилой жандармский офицер писал протокол, пока я старался подружиться с его охотничьей собакой; он объявил мне, что получил телеграмму о моем пропуске до Петербурга. Это была большая и неожиданная удача, и, когда поезд, из-за меня задержанный на границе дольше обычного, тронулся в путь, я чувствовал себя именинником. Еще задержка в Белоострове, личный обыск в жандармской комнате и рукоплескание моих соседей по вагону, когда я, руки в карманах, вернулся в вагон, а за мной нижний чин доставил и мои обысканные че-

моданы. Несмотря на эти задержки, чувствовалось, что Россия уже не та, какой я ее оставил, и что в ее полицейской машине нет прежней уверенности.

Дым отечества пахнул мне в лицо на необычайно грязных улицах Петербурга – я отвык от России и сразу примечал ее недостатки. Мне был сладок и приятен этот дым отечества. Неторопливо, едва подстегивая лошадь, вез меня по улицам самый настоящий русский извозчик. Он вез меня в дом знакомых, где меня ждали не без волнения; но я не волновался, так как еще не понимал ясно, что случилось и куда я попал после долгой дороги, тянувшейся не то два месяца, не то все десять лет. В данную минуту я был свободен и мог назвать извозчику любой адрес: остальное меня не занимало. В Петербурге сейчас белые ночи. Я не обязан больше думать и говорить по-итальянски и к первому встречному могу обратиться с вопросом на родном языке. Все это похоже на сказку, но дворник, который метет улицу, в его рваной и штопаной полуформе, похож на русского мужика. Я еду на Васильевский остров. Если все это действительно так, то жизнь делается очень занимательной. Петербург – холодный и неприятный чиновничий город, а вот Москву увидать хочется. Подхватив пишущую машинку, с которой я не расставался, и небольшой чемодан, предоставив остальное заботам извозчика, я поднялся на второй этаж и позвонил.

Поставив в тексте черточку на середине пути – nel mezzo del cammin[42] это как бы каменная тумба с отметкой расстояния, – я пью слабое и кисленькое французское вино, vin gris[43], которое предпочитаю тяжелым и пьяным. Городок спит, натрудившись за весенний день. Глубокая ночь. Кто-то упомянул о Петербурге, если это мне не послышалось. Но Петербурга в то время не было, был Петроград, как теперь Ленинград. Работа великого мастера, подписанная реставратором. Все это до удивительно-

---

[42] Земную жизнь пройдя до половины… (Данте Алигьери. «Ад». Песнь первая.) (итал.)

[43] Сухое вино (фр.)

сти не важно и не имеет значения. Спит французское тихое местечко, в котором минувшей весной был артиллерийский бой, разбивший снарядом памятник убитым в прошлую войну; можно поставить новый – разом за обе войны, и это экономнее. Возможно, что именно здесь и закончатся мои странствия, хотя мое желание не таково. «В середине пути нашей жизни я очутился в дремучем лесу, так как прямая дорога была потеряна». Когда в 1916 году я возвращался в Россию, со мной в ручном чемоданчике были две миниатюрные книги: «Божественная комедия» Данте и «Размышления» Марка Аврелия[44]. Таможенный чиновник, изображавший одновременно и цензора, повертел в руках один томик, не понял, осведомился и вернул мне; понадеялся, что книжки не страшные, не запрещенные; обе были в пергаменте и похожи на молитвенники. Я кое-как цитирую наизусть Данте, язык которого мне ближе знаком, но Марк Аврелий писал, к сожалению, по-гречески; и, однако, римский император помогал мне в земных испытаниях, этот мудрый и уравновешенный стоик, впрочем, не столь уж дальний родственник скептического автора Экклезиаста[45]. «Если страданье непереносимо, оно убивает; если ты его выдержал, значит, оно переносимо». На стене, грубо оштукатуренной и сильно закоптелой и запыленной, висит отрывной календарь, доску которого я расписал знаками зодиака. Опять весна, но четвертью века позже. Здесь со мной нет ни книги Данте, ни Аврелиевых сентенций; оба томика пропали при одной из жизненных катастроф. Я называю катастрофами потерю того, что было близко и дорого; обычно для меня это книги и непутевые, ничего другим не говорящие вещи и вещицы. Катастрофой же называется

---

[44] Марк Аврелий – римский император из династии Антонимов (121–180), философ, автор размышлений «Наедине с собой», написанных в традициях позднего стоицизма.

[45] Экклезиаст – Екклизиаст – одна из наиболее поздних книг Библии (4 или 3 в. до н. э.), памятник древнееврейской афористики. Основные мотивы этого памятника литературы – тщетность попыток охватить полноту жизни знанием, а также мысль, сформулированная в стихе 18 первой главы: «…В многой мудрости – много печали».

и другое, что трудно объяснить и сложно излагать. В городке, растянутом по течению реки Шэр, до трех тысяч жителей; возраст его – много столетий, но он как вырос из деревни, так и остался слитым с нею. Не знаю, дойду ли я в своей повести о жизни до рассказа о том, какими ветрами занесло меня сюда. Городок спрятался в самом сердце Франции. И если мне в нем не очень уютно, это не его вина.

Как тогда, в Балтийском море, на пути из Финляндии в Европу, боковая качка, головокружение, и кажется в тумане, что пароход стоит на месте. Или как много позже, в заливе Финском, в компании самых мирных людей, изгнанных из СССР писателей, философов, университетских профессоров с семьями, – и тоже туман и неизвестность впереди. Зачем-то и за что-то разрушенные жизни, разметанный быт, которому пора бы уже стать покойным, и ужасная оскомина на душе от всех этих «исторических событий», о которых будут писать телескопическими словами, ни разу не заглянув в микроскоп на беды и горести пострадавших от них букашек. Весна стоит холодная. Мне все – все равно. Я не уверен, нужно ли еще думать, вспоминать, писать. Я безмерно устал от этих жизненных перегонов, подъемов, спусков, путешествий, накоплений и потерь, встреч и разлук, от туманов, от воя пароходных и военных сирен, от писем, от чужих несчастий, от бега часов, срыванья календарных листочков, от вечных записей жизненной приходо-расходной книги. Когда-нибудь уляжется ли боковая качка? Я не прошу о минуточке, господин палач, я охотно ее вам уступаю.

Тогдашний Петроград показался мне забавным, но милым своей нелепостью. Я не имел права в нем жить, но уже на второй день приезда сидел в журналистической ложе Государственной думы и слушал искусно построенные речи депутатов, боязливо делавших революцию, в которую не верили ни они, ни не уважавшее их правительство. Но все-таки война спутала российскую полицейскую стройность, я чувствовал это по себе: надо мной висел заочный приговор к ссылке в Восточную Сибирь – это подтвердил мне товарищ министра внутренних дел, которого я удивил чисто европейским телефонным звонком и

сообщением о моем приезде; в России это считалось непозволительной дерзостью. Я просил его принять меня и, приехав, продиктовал его дактило разрешительную бумажку на проезд в Москву; он удивленно подписал. «Но вы не имеете права жить в Москве, вас вышлет оттуда командующий военным округом». – «Я и здесь не имею права жить, однако вы меня почему-то не выслали». – «Да, это верно, но случай добровольного возвращения эмигранта как-то не предусмотрен; тогда уж поезжайте в Москву скорее». – «Я уеду сегодня же, а там увидится». Он согласился, и я понял почему: я был все-таки европейцем и корреспондентом крупной газеты, а Россия была союзницей великих демократий и делала им глазки.

И вот наконец Москва, мой настоящий родной город; для многих родиной делается город их университетского посвящения; для меня, сверх того, Москва была городом посвящения революционного и первым этапом взрослой жизни. Здесь был разрушен мой первый оседлый быт, здесь я создам себе третий, разрушив второй в городе Вечном.

В редакции моей газеты («Русские ведомости») сидели мудрые старцы. Они сказали мне:

– Вы давно не жили в России. Поезжайте ее посмотреть и не торопитесь о ней писать. Вернувшись, побываете и на фронте.

И я поехал. Вслед за мной ехал приказ о моем задержании к высылке, но он никак не мог меня догнать. Испортилась полицейская машина! Когда, объехав весь север Европейской России и побывав на Западном фронте, я вернулся в Москву, приказ еще кочевал, потеряв мои следы. Я успел снять квартиру, прочно обосноваться, писал, читал доклады о европейских настроениях, опять посильно помогал крысам подтачивать священные устои, и только накануне революции догнал меня приказ, так и оставшийся невыполненным.

Но мне хочется вспомнить, что вспомнится о месяцах, проведенных в дороге, о той России, которую «умом… не понять» и «аршином… не измерить».

Как всякий поэт, Тютчев, конечно, преувеличивает: пространства России измерены и умом ее понять можно. Но «стать»

у нее действительно особенная, потому и не понимал ее до конца полупетербуржец-полуиностранец, полупоэт, получиновник, писавший иногда превосходные стихи на слабом русском языке. Давно изжив квасной патриотизм, я не боюсь порою хвастать и восхищаться Россией-землей. К сожалению, ее всегда выдумывали, выдумывают и сейчас, выдумаю, вероятно, и я. Ее хотят представить себе целиком, – а цельной России нет и никогда не было, она состоит из нагромождения земель, климатов, гор, равнин, народов, языков и культур. Ее изображают медведем; с тем же успехом можно изобразить и белугой, снопом, жаворонком, виноградной лозой, почкой малахита. Из нее, многобожной и языческой, старательно выкраивали «матушку-Русь православную», как сейчас хотят представить ее безбожницей и комсомолкой. Великолепный базар ее племен малевали «народом-богоносцем»; ее строевой и мачтовый лес расщепливали на палки хоругвей; ее ширям подражали кучерской поддевкой и резным круговым ковшом; ее Ваньку-дурака, хитрую кряжистую бестию, наряжали в театральный костюм Ивана Сусанина или жаловали то царским престолом, то марксистской ортодоксальностью. Над искажением лика России немало поработали два замечательных русских классика – Гоголь и Достоевский, и не роди русская земля Льва Толстого, так бы и не видать ее подлинного лика. Едва ли не самое большое несчастие России в том, что ею всегда управляют, хотя лучше всего она управлялась бы сама, как сама течет большая река, растет трава на заливном лугу, само светит солнце, без помощи электрических станций. Не знаю, как это было бы, но знаю, как происходило и происходит противоположное и как на головы мудрых (не умных, не просвещенных, а от природы мудрых) напяливают дурацкие колпаки. Я очень люблю Россию – ту, которую знаю, и это естественно для ее законнейшего сына, – но не уважаю за ее ленивую волю: она позволяет кататься на своей вые каждому любителю верховой езды. Иногда, встав на дыбы, она опрокидывает всадника – и сейчас же позволяет взнуздать себя другому. Пожалуй, действительно медведь луч-

ший ее образ – сила необычайная и легкая приручаемость: кольцо в ноздри – и танцуй под любую музыку.

Но просторы! Целый месяц я пробирался по северным губерниям через заросли деревьев и людей; и люди, и деревья были смолисты, корявы и ветвисты на один бок. С ними хорошо было и говорить, и молчать, и думать не спеша – и с людьми, и с деревьями. После европейских балаганчиков и аккуратно заглаженных на штанах складок – деревянные просторы, армяки и татарские халаты, природная кривизна линий, по воле растущие бороды, великое разнообразие типов, и уж если тупость – так тупость, а если ум так свой собственный, не из книжки с картинками. Зеленый ковер, расшитый серебряными змеями рек. Нищая рвань на мешках с золотом. Главное – нет этого душка плесени и мертвечины скопившейся тухлой истории, которая повсюду шибает в нос в Европе. Родится человек, живет, дохнет и перегнивает на сельском кладбище по всем правилам естественной науки, без надгробий и некрологов, и кладбище всегда лесное, а не штукатуренное, гнить на нем приятно. И города не на шахматной доске, а выросли из деревенской грибницы, сами назвали себя и свои улицы, найти в них никого невозможно, а спроси бабу – укажет. Кому это – беспорядок, но у меня от линованного порядка Европы были на глазах мозоли и на душе оскомина, я радовался нашей первобытности и нелепости нашей, в которой есть свой высший порядок, утвержденный природой, а не чиновничьей астролябией. Тут дело не в буколической поэзии и не в живописности, а в том, что цена цивилизации мне была уже знакома, и радовалась анархическая душа нашей неизмеримой «технической отсталости». Я тоже выдумывал свою Россию, и мне казалось, вероятно, ошибался, – что эта Россия пойдет иными путями и к иным целям, естественно и просто, безо всяких миссионерских заданий, без кичливости, спокойным шагом. Никакого «нового слова» не скажет, а жить будем все-таки по-своему, во всяком случае – пока это можно, пока и нас не захлестнет европейская цивилизация и не сделает образцовым муравейником. И я дышал, как раньше никогда не дышал, до растяжения грудной клетки и

сладкой боли. Но я видел не только это. Ведался больше с земскими местными людьми – и поражался их работе. Они делали огромное дело, стесняясь его малости, воображая, что там, в Европах, где и руки не связаны, и средств больше, что только вот там работают по-настоящему; они не подозревали, что подобное бескорыстие, преданность такую и такую веру ни в каких Европах не встретишь, разве как исключение, что ни один народный учитель не будет там работать в подобных условиях, ни один врач не станет объезжать на худой крестьянской лошаденке стоверстные округи, что они – истинные подвижники и подлинные герои. Перед ними не было ни карьеры, ни чинов, ни материального благополучия, напротив – полная уверенность, что так и пройдет вся жизнь в медвежьем углу, и хорошо, если раз в десять лет доведется побывать если не в столицах, то хоть в губернском городе на каком-нибудь агрономическом, учительском, врачебном съезде. И они все-таки успевали читать «толстый» журнал, осведомляться, что делается в этих самых просвещенных Европах, толкать свою науку и огорчаться, что так мало знают и так ограничена область применения их сил: каких-нибудь десять-двадцать тысяч гектаров крестьянской земли, три сотни детских дифтеритов, пять-шесть школьных поколений, да помощь делу кустарному, да участие в кооперативном движении и, уж конечно, устройство в своем районе, общими средствами, нескольких хорошо подобранных народных библиотек.

Я побывал и в своем родном городе, в единственном, где показался себе совсем чужим. Там большой революционный мужик, миллионщик и инженер, построил на свой счет университет с лабораториями и клиниками; на открытие этого университета и я приехал. Этого миллионщика, дававшего и на просвещение, и на революцию большие деньги, что не мешало ему прижимать рабочих на своих приисках и копях, – его, кажется, после прикончили. Забавные люди жили в России! Помню одного сибирского промышленника, составившего себе огромный капитал на устройстве паровых мельниц. Туго набив мошну, он приехал в Москву, сошелся с революционерами, от-

тенки которых его не интересовали, и все деньги ухлопал на издательство легальных и нелегальных популярных книжек. Таких людей было немало – попробуй их понять! В Саратове я сдружился с культурнейшим европейцем, почему-то служившим секретарем в губернском земстве. Большой знаток и ценитель искусства Востока и искусства жизни. Он угостил меня тончайшими винами и такими же фруктами, привезенными то ли из Ташкента, то ли из Самарканда; никогда после я таких не видал и не едал. Он был образованнейшим человеком, барином и в то же время демократом до мозга костей. Его дом был музеем искусства. Мы провели с ним ночь в одной из тех бесед, на которые способны только русские: говорили о Париже, о Будде, о реках, о границах свободы личности, о Платоне, об Ивэт Гильбер, вятском земстве и курганных раскопках. В революции он принял самое близкое участие, но после Октября был нечаянно расстрелян: он был слишком ярок опереньем среди серых провинциальных птиц.

Кама и Волга дали мне часы и дни наслаждений, – я видел их тогда в последний раз в своей жизни, – тогда бы нужно было вспоминать и писать о детстве и юности; нашлись бы настоящие слова и живые краски. Но мои чемоданы были набиты земскими отчетами и статистическими сводками; газета требовала работы серьезной, на каждом этапе меня снабжали целыми библиотеками и подносили мне изделия местных кустарей: великолепные вещички литого чугуна, крашеных ванек-встанек, берестовые бурачки, яркие деревянные ложки, горки уральских камней, Евангелия из цельного куска соли, сладкие пряники художественной работы, детские лапотки из лыка, яйца-писанки и прочие вещички, которые после бывали на международных выставках и прельщали европейскую публику. Но в то время Россия была еще только Россией – простое имя, годное на все случаи, не отяжеленное нудной связью слов иностранных и надуманных, не сокращенное в буквенный вывих языка. Она росла быстро и подземно, как толстый и прямой побег-спаржи, одним стволом; потом она сломилась и от корней дала букет корявых, но сильных кривуль; может быть, это лучше, я не

знаю. И того, что случилось, уже никакая сила не переменит – как не повернуть теченья Камы, носившего когда-то и мою лодочку.

В Москве меня спросили:

– Ну, понравилась ли вам Россия?

Я ответил:

– Лет бы двадцать свободных, чтобы изучить ее уголок. Понравилась, понравилась! Приехал иностранцем, а теперь чувствую, что тутошний. Тутошним хотел бы и остаться.

Я со смущением приступаю к дальнейшим запискам о жизни. О прошлом хорошо писать в спокойствии настоящего, в легком от него уходе. Русский летописец живет в келье под елью, иностранец в башне слоновой кости. Моя деревенская хибара стоит на берегу реки, разделившей две Франции, занятую неприятелем и свободную; и из-за реки доносится немецкая речь. Это можно преодолеть, но нельзя вообще отвернуться от свершающейся истории, и мои записки легко могут превратиться в дневник.

Я вернулся в Россию в день летнего солнцестояния, 22 июня 1916 года. Сегодня тот же день солнцестояния двадцатью пятью годами позже. В прошлом году, в те же дни, это местечко было занято с бою немцами; мы были здесь и прятались в лесочке на самой линии артиллерийского боя. Нынешним утром я вспомнил об этом, перечитывая раньше написанные страницы, – но утром мы еще не знали, что в день летнего солнцестояния Россия вступила в новую войну.

В день, когда распахивается дверь в будущее, в этот страшный и волнующий день, я пытаюсь думать только о прошлом. Может быть, это не так уж и трудно. Вглядываясь в собственную душу, вижу, как она утратила способность в полной мере отзываться не только на то, что называем «историческими событиями», но и на изгибы судеб моей родины, для которой сегодняшний день станет роковой датой. Это не эгоизм и, конечно, не равнодушие; это – крайняя усталость и как бы уход в потустороннее. Да я и не знаю, чего желать России; она превратилась для меня в символ, и уж не ощущаю ее живой. Я лю-

бил землю, но не в ее ясных границах. Земля останется, останется и русский язык, на котором я говорю и пишу. Исчезнет много людей – но с ними давно нет общения, – и на смену им придут новые. Победительница или побежденная, раздвинув свои пределы или распавшись на клочья, Россия останется для меня прошлым даже и в том невероятном случае, если я еще успею ее увидать. Не все ли равно, что происходит сегодня и предстоит завтра, если дальше еще бесконечный ряд будущих дней недоступен нашему сознанию; где-нибудь нужно поставить межевой столб духовного своего имения.

Так рассуждает ум, и сердце, закутавшись в защитный покров, старается ему не возражать. Оно будет подсматривать в щелку, но будет сдерживать свои биения, попытается быть примером благоразумия и выдержки. Если не всегда это ему удастся – его не осудят те, с кем оно билось когда-то согласным трепетом. Я деловито хмурю брови и продолжаю.

У меня не было и нет никакой собственности, кроме крошечного участка земли во Франции под Парижем, где разбит нашими руками сад, кажущийся нам очаровательным. На участке я выстроил из тонких стволов спиленных деревьев избушку для хранения садовых орудий, а при избушке навес, чтобы укрыться от дождя. После милых людей это – самое любимое из оставшегося в жизни. У меня были еще книги, которые я собирал годами и терял при очередных катастрофах; из них последняя пережита совсем недавно, когда я и моя жена пришли пешком с железнодорожной станции маленького города в другой городок через неприятельскую линию, пронеся с собой чемоданчик с переменой белья, коробкой консервов и бутылкой чистой воды, – и это было всей нашей сохранившейся собственностью; все остальное погибло в Париже – библиотека, архив, картины, вся обстановка нашего трудового уюта. Если бы мне пригрозили сейчас лишением всех жизненных благ, я бы от души рассмеялся. Правда, я не могу читать и писать без очков и не люблю курить без дешевого вишневого мундштука, но, в конце концов, и это лишение было бы не страшнее пережитых неоднократно. Что касается благ иных, не материальных,

любви, дружбы, духовной связи с такими же бедняками и тружениками, каким всю жизнь был я, что касается моих дум, уверенностей, житейской философии, что касается поэзии, единственного полного распорядителя и единственной подлинной цели жизни, – то ведь этого отнять никто не может; с этим рождаются или этому приобщаются и с этим уходят в бесстрастие великого Востока. Тому назад четверть века, в дни после октябрьского переворота в Москве, я зашел вечером навестить старую женщину, пианистку, жившую в переулке близ Трубной площади в невзрачном домике, где она обставила себе уютно квартиру из двух комнат; одну из них почти целиком занял рояль. Все, что она имела, было приобретено ее заработками – уроками музыки. Однажды к ней пришли новые люди, строившие новую, счастливую жизнь в России, и забрали все имущество, не успев увезти, за громоздкостью, только рояль, но обещав за ним вернуться; впрочем, ей оставили еще диван, на котором она спала, и два стула да кое-что из посуды. Она позвала меня провести с нею и ее близким другом виолончелистом и композитором, в Москве очень известным, последний музыкальный вечер. Вечер – значило и ночь, так как нельзя было поздно выходить на улицу без опасения быть случайно подстреленным не то бандитами, не то пугливым постовым милиционером. Смеясь, она рассказывала, как все это произошло. В сущности, они были славными парнями, эти усердные реквизиторы: они были вежливы и старались объяснить ей, как несознательному буржуазному элементу, почему ее лишают части материальных благ, необходимых пролетариату. Она не возражала – это было бесполезно, но не могла отказать себе в удовольствии ответить им, что самого ценного она им все-таки не отдаст – и отдать не может, как и они не могут ее этого лишить. «Самое ценное вот здесь, – она показала на лоб и на сердце, – мой ум, мои знания, мой музыкальный талант, и это останется при мне – всегда и всюду при мне останется, что бы со мной ни сделали. Если бы я сама захотела, если бы согласилась, снизошла – понимаете? – снизошла, пожаловала, я бы могла вам сделать подарок, сыграть что-нибудь, возвысить и вас,

сколько возможно, до себя; но я этого не сделаю, потому что вы пользуетесь против меня силой, а я грубую силу презираю и ей никогда не уступлю. И вот вы заберете все и уйдете такими же бедняками, какими сюда пришли; а я, всего лишившись, останусь такой же богатой, – вы понимаете меня?» Они выслушали, но не все поняли и сказали: «Инструмент пока у вас побудет на вашей ответственности, сейчас грузовика у нас нет; а только все равно заберем для рабочего клуба». Электрического света в этот день не было. Я сидел на диване в пальто, подобрав ноги, так как квартира была не топлена. В соседней комнате моя приятельница аккомпанировала виолончели. В сущности, это был могильный склеп, в котором друзья-покойники чествовали музыкой новоприбывшего в их среду. Не знаю, не помню, что они играли, в перерывах согревая себя чаем, приготовленным на примусе. Был декабрь, расстрелянная Москва спала, нервно вздрагивая при стуках в дверь. История шествовала в полном спокойствии, – ей опасаться было нечего, она всегда права. Мы ни о чем не думали, и звуки у каждого превращались в нужные и знакомые ему образы. Неправда, что тонущий человек за минуту успевает прожить целые прошедшие годы и вспомнить в них самое ценное и дорогое. Я тонул в самой волшебной обстановке, в голубизне Средиземного моря у высоких отвесных скал, у выхода из каприйского голубого грота, и я помню только одну несказанную фразу: «Так, значит, это и есть…» – и, чудом спасенный, я эту фразу повторял про себя. Музыка выключила нас из жизни и погрузила в мистическую бездну, но ясных мыслей не дала. Человек повертывается спиной к будущему, лицом к прошлому, но не видит ни того, ни другого: образы проходят перед спящими глазами, и эти образы закутаны однообразными покрывалами, их толпа бесконечна и беспрерывна. Мало-помалу все превращается в аккорд, в стройность, рожденную из хаоса, но никакая оценка невозможна. Под утро мы вышли с композитором, который, дрожа от холода, обнимал свою виолончель и прятал лицо в воротник шубенки. Я проводил его до дому и больше никогда не видал. Я тоже нес домой сокровище, полную чашу, которую не хотел расплескать,

идею романа, в котором какая-то роль будет отведена и моему спутнику. Но только спустя три года, в казанской ссылке, были написаны его первые строки. В чужом городе я окрестил свой первый большой роман именем одной из замечательных улиц города родного: «Сивцев Вражек». Но не слишком ли горделиво утверждать, что никто не может отнять наши духовные ценности? Так хочется думать и хочется воображать себя несокрушимой скалой, кряжистым стволом, который ни согнуть, ни сломать невозможно. Вспоминая свои тюрьмы, ссылки, высылки, допросы, суды, всю историю насилий и издевательств, каким можно подвергнуть человека мысли независимой, в сущности довольно ленивого и не заслужившего такого внимания, – я не думаю, чтобы погрешил слабостью или сдачей, или проявил себя малодушием, или попытался скрыть свои взгляды и смягчить участь сделкой с совестью. Этого не было. Но душа все же опустошалась на каждом этапе, воля все-таки надкалывалась, и искривлялся жизненный путь, который я старался себе наметить, – искривлялся не только внешне, но и внутренне. Мы начинаем чистой и прочной верой, но до конца проносим только обрывки знамен, которыми дорожим по любовной памяти и потому, что менять их было бы поздно да, пожалуй, и не на что. Так, например, я определяю свое отношение к русской революции, которой был участником. Я знаю, что нелепо дробить ее на части, одну признавая, другую отрицая или подвергая сомнению; революция последовательна и едина, и Февраль немыслим без Октября. Был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершиться он мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю, и я принимаю это фатально, как принимают судьбу. Но чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному насилью, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость минут переворота, – отказу от установления гражданской свободы, осуществления основ наших мечтаний. Менять рабство на новое рабство – этому не стоило отдавать свою жизнь. И неизбежность не может служить нравственным оправданием. Можно убить в пылу страсти, в самозащите, в отчаянном напа-

дении, но холодное, расчетливое палачество внушает отвращение, – а нам предлагали им восхищаться и его воспевать. Для меня революция – вечный протест, вечная борьба с насилием над личностью, во всякий момент, во всяком строе, и я не зову этим именем защиту позиций, занятых новыми властителями. Революция – крушение, а не остановка и не строительство. Величайшая ересь – мыслить ее «перманентной» в смысле охраны и созидания нового государственного строя. Взявший власть уже враг революции, ее убийца, основоположник контрреволюции. Наша история это подтвердила. Все это я знаю, но знание не окрасит заново поблекшего знамени и не спасет от натиска противоречий; крах прежних духовных ценностей неизбежен.

Большие полотна не пишутся кисточкой для миниатюр и случайными, под рукой, детскими красками. В моей памяти нет никакой последовательности событий, их хроника ей чужда. Помню момент перелома – на обширном дворе Спасских казарм в Москве, куда пришла толпа; у солдат дрожали в руках винтовки, офицер не решался отдать команду. Нам ударил в грудь холостой залп, как могли ударить и пули. В тот же день человеческая река по Тверской улице – день общего сиянья, красных бантов, начала новой жизни. В сущности, славен и чист был только этот день. Нужно было писать – но перо еще не привыкло к простому, несвязанному слову, оно кляксило газетную бумагу, оно истошно кричало. И дальше – отрывочные картины, переплет революций Февральской и Октябрьской, суматоха дней и месяцев крушения векового здания. Вижу себя в черном кожаном шоферском костюме, которым меня одарили на Западном фронте, в сапогах и с наганом в руке; ночью обхожу комнаты здания Московской охранки, полусожженной чинами политической полиции. Еще недавно меня вызывали сюда, требуя, чтобы я выехал из Москвы. Оступившись при слабом свете карманного фонарика, я срываюсь из второго этажа в разрушенную комнату первого, пролетев между торчащими балками и железными скобами и упав на кучу угля, битого стекла и полуобгорелых деловых папок; кожаная одежда спаса-

ет. Необходимо сохранить документы сыска для истории страницы позора старого режима. Менее всего думалось о мести в эти дни, казавшиеся и бывшие светлыми; на прошлом крест, но музеи будут говорить о нем красноречиво. Архивы свезены в Исторический музей, где уже разбирают их люди с жадным и нездоровым интересом. Потом внезапное отвращение к этой грязи и гнили – не было ли во мне предчувствия, что нарождающийся строй, воздвигнув свои новые тюремные камеры и здания сыска, использует и кладбища прошлого, найдя в них много для себя ценного и поучительного? Потом увлечение новой большой газетой, встречи с нахлынувшими из-за границы эмигрантами, быстро занявшими ответственные посты. Свободные общественные союзы, союзы союзов, избранный клуб писателей, полеты идей, свитки планов, и уже рождающееся сознание, что все это должно разлететься прахом, что толпе нужны ловкие поводыри и реальные блага, а не наша интеллигентская культурная суета. Волна солдатчины, бегущей с фронтов домой, потому что революция и свобода значит в переводе конец войне, иначе это было бы напрасным обманом народа. Горят усадьбы, вырубаются леса; революция торопится обеспечить свои победы, – и гордые победители красуются на боевых колесницах, кони которых вырвались и умчались далеко вперед. Сколько слов, сколько прекрасных слов; какое безбрежное море лучших слов русской речи, какая бездонная пропасть делового бессилия! Хмельной, волшебный праздник, опустели все тюрьмы, бывшие воры выносят на митингах резолюции о своем перевоспитании, приветствуя новую Россию; деревенские делегаты подписывают заявления, писанные для них недеревенскими людьми; рабочие, готовясь к диктатуре, пока делают на заводских станках на продажу зажигалки; ученые пытаются рассуждать, пишут программы, заботливо насаждают в незнакомой им России прекрасно знакомую Европу. Талантливые в нашей прежней борьбе, остроумные в нападках на свергнутый строй, блестяще злые, увертливые, когда нужно – самоотверженные и готовые на подвиг, – мы внезапно делаемся солдатами в отпуске, счастливыми, праздношатающимися, со

всеми в дружбе, на все согласными, пьяненькими от свободы. Очаровательное время распада государственной машины, безвластия, самопорядка, срывающегося в сумбур. Совершенно ясно, что это – конец революции, что кто-то придет и скрутит пуще прежнего, – но не в том дело, эти дни все-таки следовало пережить, эти лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает.

Потом внезапно наступившая тишина, – что-то должно случиться. Называют имена, появляются опасные люди, для которых еще могли бы пригодиться тюрьмы. Беспокоят анархисты, раздающие у подъездов домов барское барахло всем желающим. Бывшие воры, не успев перевоспитаться, становятся ночными бандитами в рессорной обуви, которая помогает им заскакивать в окна вторых и третьих этажей. Подобно им скачут цены на исчезающие товары, и деньги становятся бумагой. Еще где-то возятся с царем, таская его по России, не то во имя человечности, не то потому, что его некуда девать. Существует какой-то внешний фронт, на котором упрямо гибнут избранные кадры молодежи, какая-то честь в отношении союзников, – но война уже отошла в отдаленные кладовые сознания, потеряла смысл и скоро сменится войной гражданской. Сначала кучками, потом и отрядами появляется Красная гвардия, саморожденная, как будто бесцельная, не знающая, что ей делать. Улиткой приближается Учредительное собрание, не потому, что оно нужно, а потому, что оно значится во всех политических программах. Избирательные бланки, многоцветные воззвания, имена, которые были известны эмигрантам в парижском Латинском квартале, на женевской Каружке и которые теперь корявым почерком выписывают на бумажку бывший чиновник, кухарка, рабочий, дворник; богомольные старушки кладут свои бюллетени на божницу, предоставляя выбор небесным силам. Это не я валю все в кучу, это вихрь свободы нагромождает буреломом. Устав от ожидания, Россия называет себя республикой, но, привыкнув к царям, ищет новое имя – и шепотком называется имя Ленина, обитателя местечка Лонжюмо под Парижем, приехавшего в пломбированном вагоне через Германию. Еще

что-то, кажется немцы на Украине и недовольство союзников. Профессора мыслят: не преждевременно ли революции оказываться социальной? но этого не находят любители сильной власти, пока еще не отказавшиеся ни от революции, ни от свободы. Приходит пора стране поговорить серьезно о своих делах. Она делает длинное, красноречивое вступление, но появляется солдат и разгоняет Учредительное собрание, оставив непроизнесенными заготовленные прекрасные речи. Долгожданная власть наконец наметилась, и поэтам остается «подчиниться насилию», выразив горячий протест.

Потом Октябрь, слухи о Петербурге, первые пули вдоль московского Тверского бульвара, снаряды над крышами, раненый купол Бориса и Глеба на Арбате. Населению не ясно, кто в кого стреляет, но жизнь уже возможна только в простенках между окнами, заложенными кипами газет. Пять дней осады, пока кто-то оказывается победителем и кто-то побежденным, так что можно попытаться перебежать улицу до мелочной лавки, торгующей со двора. Революция проиграна – да здравствует революция! В истории появляется новая великая дата.

Чувствую, как непосильна мне даже путаная хроника. Ее перебивают сотни картин. Я все еще голоден Россией, так мало видел ее после своих европейских скитаний. И вот я в сосновом бору, в охотничьем домике, отлично выстроенном и отделанном внутри с плотничьим искусством. Хозяин поместья был вынужден бежать, не от крестьян, с которыми жил в мире, а в своем качестве бывшего члена Государственной думы; семья, оставив большой усадебный дом, переселилась сюда, в четыре комнатки; я приглашен на отдых. Пышная весна, мхи раскинулись перинами, иван-да-марья на лугах выше роста, озимые уже колосятся, поблизости змейкой вьется речка в ивняковых берегах. На заре стонет строевой лес, который крестьяне рубят, валят, распиливают и колют на дрова. Самим им столько дров ни к чему, вывоза отсюда не может быть, но торопятся, чтобы не было возврата, чтобы доказать свои права; валят кругом, оставляя нам лесной островок. Могучие деревья падают с протяжным уханьем, щемит сердце слушать этот плач гигантов, их жалобу

на человека. Но мы знаем, что это нужно и неизбежно, что это – революция. Молодые рубщики и пильщики иногда приходят к нам, не спорить, не выхваляться, а побыть с помещицей на равной ноге, покрасоваться правами. Их удивляет, что никто им не препятствует, им хочется понять, поговорить хочется, показать свою «сознательность». Они неграмотны, но научились выговаривать мудреные слова, называют себя «левыми эсерами», клянутся Марией Спиридоновой[46], имя которой как-то до них донеслось. Узнав, что я лично знаком с их кумиром, смотрят почтительно и несколько боязливо: не новое ли начальство? Обещают не беспокоить, а уж лес все равно придется повалить. «Не жалко вам его?» – «Что его жалеть, он помещичий». – «Теперь он ваш». – «Кто его знает, так лучше, вернее». По лесу гуляет революция, и тут же, за опушкой у старого кладбища, проживает мирно сельский батюшка, сам крестьянствуя, и рубщики идут к нему звать на крестины и похороны. В нашем домике пианино, по вечерам уцелевшие сосны слушают музыку. Хозяйка художник, ее картина есть в Третьяковской галерее. Над потерей всего достояния посмеивается, знает, что отнимут и этот домик. «Мы сами добивались революции – вот она и пришла; жаль только соснового бора, он лучший во всем уезде». Кончает картину: солнечные блики на могучих стволах. Тем же летом, в подмосковной деревне, на берегу Москвы-реки, валяюсь на солнечном косогоре, завитом хмелем, смотрю на золотые ржи, брожу по заповедному лесу, которого никто здесь не трогает, – да и пробраться едва возможно в его темную чащу. В деревне все по-старому, только у девушек завелись чулки со стрелками да у местного кулака оказались в риге, полузаваленные сеном, поцарапанный и разбитый рояль и пухлый комод красного дерева, – неизвестно, как и откуда попали. В реке щуки гоняют мелочь, в далях того берега белеет село Архангельское. Нет более мирной картины. Меня

[46] Мария Спиридонова – Мария Александровна Спиридонова – (1884–1941) один из лидеров левых эсеров, в прошлом исполнительница нашумевшего террористического акта.

тянет к воде, как пьяницу к алкоголю: море, река, речка, речушка, ручей. Но приходится возвращаться в город, где еще выходят газеты. Случается, однако, что ночью врывается в типографию отряд Красной гвардии, разбивает цилиндры свинцового набора. Мы предусмотрительны и посылаем копии матриц в несколько типографий. Номер газеты, будто бы уничтоженный, рано утром продается на улицах. Власть еще неумела, происходит постоянное состязание. Все это скоро кончится. В осенний день в подвальном помещении маленькой типографии, при потушенных во всем здании огнях, с кучкой рабочих-добровольцев я выпускаю последнюю однодневку «За свободу печати»; вся московская литературная знать дала статьи за полной подписью – последнее, что мы можем сделать. В свободнейшей из стран приходится работать подпольно, однако забрала еще открыты. Но новые тюрьмы уже строятся, старых не хватает. За какое-то «ложное известие», давно подтвержденное официально, отвечаю, как редактор, перед новым трибуналом; обвиняет Крыленко[47], комиссар юстиции, забавный фанфарон; защищает приятель-адвокат, старающийся убедить суд, что перед ним не буржуй, а интеллигентный бедняк, может быть, в единственных штанах… я делаю защитнику отчаянные жесты, потому что его слова повергают меня в смущение: на мне не только единственные, но рваные панталоны, так что стараюсь не повертываться спиной, спасая свою редакторскую честь; мы уже донашиваем одежду, обувь, скоро будем сами шить себе фантастические костюмы из портьер и мешков, носить зимой сандалии, добывать к лету валенки, подшитые кожей, содранной со старинных переплетов.

Те, кто бежал тогда из России сначала на юг, под защиту добровольческих армий, потом за границу, никогда не могли понять всей силы и полноты пережитого нами, оставшимися делить судьбу родины. Перенеся и испытав все тяготы и ужасы

[47] Крыленко – Николай Васильевич Крыленко (1885–1938), активный участник Октябрьской революции, большевик, с начала 1918 г. перешел в ведомство юстиции.

жизни – нищету, голод, террор, мы видели и иное, придававшее жизни глубокий смысл: спайку душ, самоотвержение, взаимопомощь, поравнение в жизненной борьбе, пробуждение ранее спавших сознаний. Страдая от новой власти, мы и в мыслях не имели проклинать революцию и возврат к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы величайшим несчастьем для России. Далеко ушла от нас война, и заключенный новыми господами страны отдельный мир не вызывал в нас ни протеста, ни большого интереса: иного быть не могло, и народ не двинул бы пальцем ради прекрасных глаз Европы. Начавшаяся гражданская война также вызывала мало интереса – лишь постольку, поскольку она тяжко отражалась на нашем быте, усиливая нищету, мешая жизни хоть немного восстановиться и стать на рельсы; вызывая усиление террора. Добровольчество, при всем потоке громких слов, шло под знаменем возврата монархии и земельной собственности, с целью полного сокрушения революции; десятки народившихся окраинных и сибирских правительств были никому не нужны и не менее опасны, чем наше; не вызывали ни доверия, ни надежд. Мы отдавали должное героизму единиц и масс по обе стороны гражданского фронта, мечтая лишь об одном – чтобы все это скорее кончилось тем, чем должно было неизбежно кончиться. Оскорбляло вмешательство иностранцев, бывших военных союзников, пытавшихся распоряжаться нашими судьбами. Мы хотели бороться сами, отстаивая свои личные и вновь нами созданные общественные крепости, и в какой-то мере этого добивались. Было прочно сознание, что при всех испытаниях, во всех условиях, вопреки разрушительной деятельности власти, нужно спасать Россию и то, что осталось от революции. Позже, высланный за границу, я понял, какая психологическая пропасть оказалась между нами и эмигрантами, до какой степени им было чуждо и непонятно то, что нам пришлось внутри пережить. Они отреклись от России, – мы оставались тесно с нею связанными; они видели в России только кучку властителей, одинаково и им и нам ненавистных, – мы видели и знали новых людей, силящихся поставить на ноги раненого колосса, видели народ, пробудившийся к

сознательной жизни, огромные возможности расцвета этой жизни, только бы не убил до конца этих возможностей возврат политического деспотизма. Нам казалось, что вопреки всему революция явилась для России благом, что в длительном процессе жизни это скажется. И во имя борьбы за это мы хотели жить в России. Я говорю «мы» о тех интеллигентах, которые и прежде вели борьбу с властью и для которых настоящее положение было только этапом все той же борьбы. И я не сомневаюсь, что таких людей осталось в России много и много ими сделано. Мне особенно приятно писать это сейчас, в дни «крестового похода» темных сил Европы на русскую землю под предлогом борьбы против большевизма, в действительности столь родственного свастике. Не власть защищает русский солдат и русский народ, а свою землю, свое право быть ее хозяином, и никакой исход событий не умалит силы и значения тяжкого русского подвижничества. Тороплюсь сказать это прежде, чем станет модным преклоняться пред свершившимся и к нему приспособляться.

С любовным чувством вспоминаю нашу личную крепость. Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю в дни, когда все издательства прекратились, были национализированы и закрыты все магазины. Мы сами создали себе привилегию и пять лет ее отстаивали. Нужно было чем-то жить, помогать жить другим, и было приятно окружить себя книгами, частью нашей сущности. Об этой московской Книжной лавке писателей, вызвавшей позже подражания, писал не раз я, писали и другие. Она заполняла нашу жизнь. Она стала центром московской интеллектуальной жизни. Мы не просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священнодействовали, спасали книгу от гибели и разрушения, подбирали в целое разбитые томики, создавали библиотеки для университетов и учреждений, помогали любителям составлять коллекции. В те дни было загублено бессчетное количество больших и малых книгохранилищ. Мерами власти книги отнимались, валились в кучу, сгнаивались в затопленных водой подвалах. Скупая оставшееся, подбирая томик к томику, сбывая мусор, мы разрушению про-

тивопоставляли созидание, пусть в размерах скромных, но все же существенных. Находились смельчаки и страстные любители книги, которые, прикрывшись добытыми «охранными грамотами», не всегда охранявшими, решались составлять себе библиотеки, о каких раньше не могли и мечтать; у нас они находили бесценные сокровища, расползшиеся по России из разрушенных поместий и частных хранилищ. На скромнейшие доходы мы жили сами и помогали жить Союзу писателей и его отдельным членам. Мы не забывали, конечно, и себя, каждый забирая в свой лавочный «паек» то, что отвечало нашей частной книжной страсти. Вижу книжные полки в своей уплотненной жильцами квартире, мысленно поглаживаю старые переплеты, перелистываю страницы редкостных изданий, мечтаю о недостающем и чаемом, любуясь ростом моих богатств. Голод, бедность, постоянное ожидание налета бдительной власти, недовольной независимостью наших позиций и нескрываемых взглядов, – все это забывалось среди книг. Какая радость спасти увесистый том Четьи-Миней[48] от покушения на прочную кожу его переплета для обшивки валенок или заплаты на башмак. Уберечь, подобрать к нему другой и третий, пока не восстановятся все тома полностью. Томиками французских изданий осьмнадцатого века, которые сейчас продаются в Париже в отеле Друо за тысячи, у нас играли в деревнях ребятишки, как удобными битками для бабок; они валялись в мусоре разрушенных усадеб, вместе с архивами безграничной ценности. К нам робкий человек приносил на продажу сплетенные в альбом или просто оставшиеся без призора письма Екатерины Второй и ее сподвижников, доставшиеся ему по наследству или им откуда-то добытые, – теперь уже никому не нужные, последний источник его пропитания; мы отдавали ему всю наличность кассы, чтобы после продать музею за символический рубль. Дома я разбирал пожелтевшие листки, забывая тухлую конину,

[48] Четьи-Минеи – церковно-религиозные сборники, состоящие из житий святых, сказаний, легенд и поучений. Предназначались для ежедневного чтения.

морковный чай, вкус мерзлой картошки, готовя слова, которыми порадую друзей, рассказав им о своих открытиях. Лично я собрал исключительную по ценности библиотеку русских книг об Италии, преимущественно путешествий, от времен Шереметева до дней наших. По моем отъезде она осталась на хранении в одном из иностранных посольств в Москве; кто скажет, что стало теперь с моими сундуками? Все равно: да будет благословенна книга, давшая в жизни так много утешений и радости! Но и горя немало дает утрата любовно собранных сокровищ. Все, что было собрано в России, погибло, как позже погибло, украдено культурными бандитами накопленное мною в Париже.

Книга спасала по ночам, когда не спалось. Поблизости шум мотора: прошумит ли он мимо или замрет у нашего подъезда? Шаги на лестнице, отдаленный стук в дверь, новый ближе. Может быть – облава, повальный ночной обход квартир; может быть, отдельные, намеренные визиты. Уже прогремело имя улицы Лубянки, уже работает неустанно Варсонофьевский гараж, облюбованный для расстрелов. Нужды нет, что вы не чувствуете за собой никакой вины, кроме несогласия мыслить по чужой указке, – новая власть косит направо и налево, не слишком разбираясь. Днем случайный звонок, комиссар с солдатами, и часом позже, в полуподвальной камере Московской Чека, я знакомлюсь с другими заключенными. Пожилой человек говорит: «Можно просить вас занять место на нарах рядом со мной? Вы – свежий человек, без вшей, в моем углу еще чисто; будете желанным соседом». – «Где я нахожусь?» – «В Корабле смерти». – «Кто вы?» – «Я Поливанов[49], бывший военный министр». – «А другие?» – «Часть – бандиты, часть – люди разных партий, а почему взяты, не знаю, да и они сами не знают».

Проходят дни в ожидании. Есть несколько книжек, в их числе «Виктория» Кнута Гамсуна. Я облюбовал в подвале отдельную, пристроенную из досок комнату, куда никто не захо-

---

[49] Поливанов – Алексей Андреевич Поливанов (1855–1920), генерал от инфантерии, военный министр в 1915–1916 гг.

дит. Лежу на лавке и читаю Гамсуна. Какая нежная книга! Это – комната смертников, но сейчас пустует, так как пока все, кто нужны, расстреляны. На стенах прощальные надписи. Мой арест случаен. Бывают также случайные расстрелы; бывают и такие же освобождения. Союз писателей еще пользуется некоторым вниманием: я член его правления. Меня освобождает лично Каменев, народный комиссар, член Совета рабочих депутатов. «Маленькое недоразумение, – поясняет Каменев, – но для вас, как писателя, это материал. Хотите, подвезу вас домой, у меня машина». Я отказываюсь, вскидываю на плечи свой узелок и шагаю пешком. За пять дней в Корабле смерти я действительно мог собрать кое-какой материал, если бы сам не чувствовал себя бездушным материалом. На расстрел был уведен только один бледный мальчик с порочным лицом: его опознал «комиссар смерти», иногда приходивший взглянуть с балкона внутрь нашей ямы; сам бывший бандит, теперь – гроза тюрьмы и герой террора, он узнал мальчика, моего второго соседа, весело его окликнул, и затем заключенный был вызван «по городу с вещами». Мы знали, что он не вернется. Знаменитый гараж поблизости, но обходятся и без него, так как на нашем дворе есть также удобный подвал для быстрой расправы. В Лавке меня встретили радостно друзья и книги; дома знакомые томы и томики стояли в оставленном порядке. Инцидент исчерпан.

Первое пятилетие революции, свидетелем которого я был, полагается делить на периоды – на эпоху Временного правительства, октябрьский переворот, военный коммунизм, новую экономическую политику и что-то еще. Историки объяснят, как все это происходило, чьим радением, чьей мудростью; но не верьте на слово историкам, не верьте слишком и их документам, потому что они приведут в стройность то, что не было и не могло быть стройным, они в хаосе откроют гармонию причин и следствий, они преподнесут облизанную конфетку – и проглядят человека. Мы, родившиеся на больших реках, знаем, что в ледоход и разлив никто не направит течения палочкой, как мальчик струю воды в уличной канаве. Свершается то, что свершается, и кто-то приписывает это себе и придумывает со-

бытиям названия. Нас влекла стихия, а люди на стороне делили должности, кричали слова команды, стреляли в упор или мимо, тормозили спинами раскатившийся вагон. Дореволюционная Россия была домовита, запаслива, богата, и война ее не истощила. Мы долго доживали и доедали ее запасы, пока пришло время, когда остались только кремешки для зажигалок и пустые коробки от папирос «Ира». Стали странствовать на колесах и пешком на юг с мешками, привозить оттуда муку, крупу, иной раз и сало, толстые слои сала с мясными прожилками и коричневой корой. Приползала зимой замерзшая картошка, дома оттаивала чернилами, но все же шла в дело. Чаще люди перочинными ножами вспарывали шкуру павшей на улице от бескормицы ломовой извозчичьей лошади, приносили домой черное жилистое мясо на котлетки. Привыкнув к очередям, молчаливо выстраивались на улице в ряд, подбирали из навозной колеи посыпанную с воза клюкву и несли домой в горстке, как четверговую свечку: все съестное стало священным. Нельзя было в нижнем этаже вывешивать между оконными рамами недоеденный кусок, вывешивать не из боязни порчи (в домах было холодно), а чтобы спасти от крыс: нельзя, потому что прохожий человек бил кулаком стекло, хватал, что висит, и бежал за угол, уплетая на ходу. В каком-то переулке с меня сняли шубу и пиджак – не возразишь против револьвера, приставленного к затылку, и вот незаменимая потеря. С магазинов содраны вывески, из них понаделаны печурки, гордость всякого хозяйства; растопка – номер «Известий рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», одного названия достаточно для розжига, а на дрова идет лишняя мебель и выковырянные дубовые плитки паркета. И все-таки мы ходили друг к другу в гости, прихватив свой сахарин к чужому чаю из листьев брусники. Хватало пшена, которое заправляли любым маслом: бобовым, кокосовым, минеральным, лишь бы не драло глотку. Мы были очень изобретательны, и мы не скучали. Многие умирали от голода, но иные, слишком полные, от него поправлялись, делались стройными и деятельными. Хоронить погибших от тифа или от расстрела посылали по наряду буржуев, а трупы

назывались жмуриками. К весне торопились скалывать на дворах лед, вывозить снег и кухонные отбросы, чтобы не затопило грязью, вонью и болезнями; дружная работа всех жильцов, прекрасное житейское поравнение - нет больше барства, как нет и слуг. И всюду находились люди побойчее: бывший ли дворник или бывший адвокат, которые выдвигались и нами командовали. Как любят люди властвовать! И как любят люди подчиняться! У властного оказывались и одежда получше, и за столом сливочное масло, а то и долетевший из Киева копченый гусь, отнятый у мешочника заградительным отрядом. Потом у властных появились на рукаве нашивки, дальше – форма, после появятся ордена и звания. У пояса кобура, под мышкой портфель, эмблема власти, – государственный строй крепчает, идеи стекленеют и становятся декретами и законами. Широко, во все скуластое лицо улыбается черт, придумавший государство. Труден только первый выстрел по приставленному к стене товарищу, дальше пуля сама знает, куда лететь. Рядом с нашей Книжной писательской лавкой, в Леонтьевском переулке, был барский особняк с залой, удобной для больших собраний; туда приезжали правители совещаться, как им мудрить над нами дальше; все люди верующие, крепколобые, без лишней чувствительности. Вечером к окнам дома пробрался через сад неведомый отчаянный человек, тоже без жалости, и швырнул бомбу. В ночь расстреляли в подвалах Чека сидевших в Корабле смерти и других узилищах, для отместки и в острастку. Кажется, это и называется военным коммунизмом. Когда же скуластый лысый человек, читавший в Париже томительные доклады и по их тезисам строивший теперь наше бытие, честнейший теоретик, чистейший бессребреник, за цифрами не видевший людей, – пусть мир погибнет, лишь бы теория торжествовала! – когда он додумался, что время дать некоторый простор частным побуждениям, поощрить инициативу, тот же поток стихии стал называться нэпом – новой экономической политикой; и вдруг появился белый хлеб и пирожки с капустой. Был еще другой человек, с лицом шестиугольным, подправленным усами и бородкой, с огромным самолюбием, злыми

глазами и прочной в душе ненавистью и прежде всего – страстный ненавистник военщины, скрипевший зубами при виде военной формы. Судьба над ним подсмеялась, сделав его народным комиссаром войны и командующим войсками. Тот, первый, скуластый татарин, хотя и русский дворянин, остался штатским в прежнем своем пиджачке; этот надел длинное военное пальто и славянский шишак с пентаграммой, округливший его шестигранное еврейское лицо. Она, судьба, и дальше его не оставит. Он высылал из России неугодных людей, и ему я благодарен за дальнейшие скитания по Европе; он будет сам выслан и кончит жизнь запутавшимся в мемуарах эмигрантом; но и в далекой стране его настигнет и убьет третий властитель России, толстый грузин в суконной полуформе, усердный убийца, услужливо прозванный отцом народов и мировым гением, сейчас – соперник в бессмертии и славе германского маляра[50]. Мимо этих бронзовых фигур течет река жизни, то затопляя половодьем, то мелея, в ее воде мелкие рыбешки, шарахающиеся от щук и окуней, им тоже нужно жить, жрать и метать икру; и бежит река своим вековым руслом, а многодумные люди скажут: это мы приказали ей течь в берегах, левом – крутом и правом пологом, из гор в долины; мы, властители и направители ее светлых струй. И в истории опишется все иначе, прилежнее, аккуратнее, с догадками, выводами, именами и датами, – в руководство будущим поколеньям. А солдата, продававшего из-за пазухи «игранный» сахар, бывшую даму, поменявшую будильник на щепотку муки, нас, читавших ночью старинные итальянские новеллы, ожидая стука в дверь, вас, разметавших по чужим странам душевные богатства, история не припомнит за малостью и ненужностью на страницах ее соломенной бумаги.

---

[50] Германский маляр – свой перечень иносказательно названных исторических фигур (Ленин, Троцкий, Сталин) М. А. Осоргин завершает Адольфом Гитлером, иронически намекая на увлечение последнего живописью: в 1911 г. будущий фюрер «третьего рейха» специально приезжал в Вену, чтобы попытаться поступить в Академию художеств.

Из великих революционных принципов, посеянных по русской земле, заглушены были скоро всходы свободы, но хорошо уродилось равенство – в благосостоянии и в рабстве. Единицы процвели особо, обеспечив будущему новое дворянство, но в общем жизнь создала желанное поравнение. Если класс неимущих выиграл мало, то стремительно к его уровню скатились те, кто раньше жил на его счет. Кто не успел бежать, прихватив свое добро в легконосных ценностях, тот попал под великий закон поравнения. Из богатых квартир, не очищенных прямыми мерами, потекло на базары и в хитрую деревню накопленное и сбереженное, стала торговкой бывшая барыня, теперь гражданка, деньги утратили ценность, отпали титулы, попряталась голубая кровь, и кто мог, называл себя детищем прохожего солдата и покрытки[51], потомком крепостных дедов. Всех равно одолели голод, холод, вошь, заползшая за воротник, крыса, хотевшая быть сотрапезницей. Равны стали и в одежде, с одинаковым за плечами мешком, слабосильные с санками или детской колясочкой – на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы. Мешки срослись с телом, люди стали сумчатыми. Если кто мог одеться лучше других воздерживался, боясь косых взглядов; если мог лучше поесть – скрывал, ревниво пряча съестное, жуя его в одиночестве и в темноте, чтобы не подсмотрел сосед в щелку. Уравнялись и в возможности попасть под карающую руку за дело, без причины, в общей облаве, по дружескому доносу или просто зря, по шутке неудачливой своей судьбы, по силе принципа: «Лучше казнить десять невинных, чем оправдать одного виновного» – так перекроили знаменитую фразу Екатерины Второй, специалистки по показной гуманности. Кто похитрее, поспешил опроститься и стать незаметным, кто половчее пристраивался в новых учреждениях, росших как грибы в дождливое лето. В новом строе, уничтожившем былое чиновничество, всякий, кто мог, становился чиновником, советским служащим, ответ-

[51] Детище… покрытки – покрытка, по Далю, «девка, вынужденная падением своим покрыть голову».

ственным, рядовым, преданным или притворщиком, только бы числиться трудовым элементом и получать свою долю селедок, моркови, повидла, листовой резины на подметки, махорки, в которую подкладывался душистый колосок – и получалась едва ли не гаванская сигара. Старые ученые с мировым именем, философы, врачи, нестроптивые писатели стояли в очередях у лабазов за получением академического пайка, усиленного лошадиной ногой или ребром: пшено, клюква, что-то вроде чая с запахом кофея, мука, горстка сахару – и непременно селедка, превосходная русская соленая селедка, великое спасение от голодухи и гибели, – ей бы, благородной рыбе, поставить бы памятник! В обмен на селедку можно было получить все, что еще не совсем исчезло, ею можно уплатить долг и обеспечить себе новый заем. Селедки поедались в виде натуральном, в вареном, в жареном, их коптили в самоварных трубах, чтобы иметь запас, не подверженный порче. И еще вобла, золотая вобла, порою с червоточиной; воблой кормили в тюрьмах, на первое блюдо в супе, на второе вынутой из супа разваренной трухой. Под селедку и воблу страстно хотелось водки, но монопольные заводы не работали, запасы были выпиты и вылиты революцией, и ловкачам оставалось гнать сивушный самогон. Пили денатурированный спирт, но от него слепли, если не догадывались процеживать его через уголь противогазовых масок. Привычные пьяницы пробовали пить бензин и керосин; фармацевты делали богатые дела, отпуская знакомым малыми флакончиками зубной эликсир, эфирно-валериановые капли и все, что приготовляется на спирту для наружного употребления, теперь для внутреннего. Смельчаки пили одеколон, – и в людских скоплениях, в очередях и на базарах пахло тонкими духами и разило эфиром.

Два явления развивались параллельно: небывалый раньше эгоизм – в дружных прежде семьях один прятал от другого кусок, садились за стол со своими съестными сбережениями, косились на материнскую и сестринскую тарелку, укрывали в кармане луковицу, ссорились из-за неравной порции. И в то же время сторонний человек, видя нужду другого, подкармливал

его, лишая себя последнего. Рискуя жизнью, укрывали гонимых, хлопотали за арестованных, простаивали в длинных хвостах у тюремных канцелярий с кулечками для своих и чужих узников. Одни спасали свою шкуру любыми мерами, от вилянья хвостом до прямой подлости, другие – шли на проклятие для ближнего и дальнего. Всякая жизнь была подвижничеством, и кличка «товарищ», одним ставшая ненавистной, для других звучала священно.

И еще было одно, что трудно объяснить человеку, не пережившему в России тех дней. И торжествующих, и от их торжества пострадавших объединяла вера в то, что все эти страдания, лишения, вся нищая суета жизни, все это лишь временно, лишь страшный переход от прошлого к будущему. От революции пострадав, революции не проклинали и о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть новые властители, но не дело, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу, – дело обновления России. В них видели перерядившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только искажать и тормозить огромную работу, которая могла бы быть – так нам казалось – дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор. Может быть, ошибались, но думали так. И по мере сил, каждый в своей области, старались наладить и личную и общественную жизнь на совсем новых началах, раньше недоступных. Наладили ли – не знаю. Отсюда, из Европы, Россию не поймешь. Я не видал ее почти двадцать лет. Сыновнее сознание не мирится с тем, что тамошние люди жили и живут в политической духоте, в ставшем привычным подданстве и робком послушании. Старшие приспособились (или лгут? или притворяются? или переменились?), младшие ничего другого не знали, никакими идеями свободы не заражены; от иного мира отделены непроницаемой и непролазной стеной запретов. То, что нам казалось и было важнее и дороже жизни и посейчас кажется – вот хотя бы возможность эти слова

сказать, написать, где-то напечатать, – им то чуждо, незнаемо, незнакомо, непотребно. У курицы какие-то предки, вероятно, летали, но она не мечтает ни о полетах, ни о плаванье. Животные в подземных пещерах, никогда света не видавшие, лишены зрения. Рабочий муравей, раб коллектива, безличная машина, не вспоминает об атрофированных органах, не знает силы пола, и он, по-своему, может быть счастлив. Жаль людей суженного кругозора и ограниченных духовных запросов, кастратов мысли, но если цель жизни счастье, то возможно, что новые поколения счастливее нашего; мы целью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремлений, возможность их развивать и им следовать. Мы могли ошибаться, но тогда какая прекрасная ошибка! Стоит ее всегда повторять, стоит и умереть, ей не изменяя.

В двадцать первом году мы, жители столицы, видели в неспокойных снах, будто горстями едим сахар и ломтями малороссийское сало; проснувшись, заедали горячий настой брусничного листа черным хлебом с привкусом пыли и плесени. Великой хозяйственной изворотливостью появлялась за обедом гречневая каша, хоть и без масла, но все же сносное питание. Иной делал чудеса: выкармливал в чулане поросенка, вскакивая по ночам взглянуть, не взломана ли дверь кем-нибудь из добрых соседей; у других на кухне, под столом, сидела на яйцах курица. На улице солдат-дезертир, побывавший на юге, показывал знаками проходящей хозяйке, что у него есть за пазухой нечто редкостное, – и хозяйка шмыгала с ним в чужие ворота или темный подъезд, где солдат распоясывался, извлекал из обмоток размякший шоколад, из шаровар мешочки с крупой; деньгам солдат предпочитал обмен на белье, на штатскую пару, на золотое колечко – торговля была сложна, опасна, все передавалось с оглядкой, из полы в полу. На базарах, которые то поощрялись, то оказывались незаконными и подвергались облавам, шел тот же сложный обмен буржуазного барахла на масло, картошку, пшено; высшей ценностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму; но неплохо котировался и будильник, треск которого нравился наезжавшим

из деревень крестьянам. Толстая баба прикидывала на свой стан кружевную кофточку разорившейся барыни; бывший чиновник не соглашался дешево отдать граммофон. Вдруг появлялся отряд милиции, и все бежали, стараясь унести свое добро, давя друг друга, проклиная свою горемычную судьбу.

Мы голодали, но это был шуточный голод: от него худели, хворали, но умирали не так часто. Настоящий голод был в приволжских губерниях, пораженных неурожаем, и описать его нельзя, хотя и пытались многие. Там начисто вымирали деревни и села, и дороги между ними зарастали травой. Там были съедены пощаженные засухой листья деревьев, содрана и сжевана мягкая кора, истреблены крысы, белки, хорьки, лягушки, сверчки, земляные черви. Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды; хуже – с примесью навоза, еще хуже – навозный целиком. Еще ели глину, и именно тогда было сделано великое открытие «питательной глины», серой и жирной, которая водилась только в счастливых местностях и была указана в пищу каким-то святым угодником. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно слабея. Обычная глина, даже если выбрать из нее камешки и песок, насыщала навсегда, от нее человек уже не освобождался и уносил ее, вместе с горькой жалобой, на тот свет для предъявления великому Судие. Но великий Судия только досадливо отмахивался: он был завален серьезными делами о людоедстве, слух о чем докатился до Европы, кушавшей тартинки и отвергавшей Россию и русских за военную измену и за революцию. С ужасом и презрением писали о «случаях каннибальства», не зная, что это были уже не случаи, а обыденное явление и что выработалось даже правило сначала есть голову, потом потроха и лишь к концу хорошее мясо, медленнее подвергавшееся порче. Ели преимущественно родных, в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев, жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и разговоров об этом не было.

Я не видал голода, хотя к зиме страшного года был сослан в Казанскую губернию, где вымирали татарские селения. Вернее, видел я только забредших в город Казань, чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улице человеческая тень в отрепьях, становилась у стены с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью тысячные, стотысячные, миллионные бумажки. Постояв на морозе сколько-то времени, тень опускалась на снежную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожие бросали, не жалея, мелкие бумажки. Это я видел. И еще видел детей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и доставленных на розвальнях в город распорядительностью Американского комитета (АРА). Привезенных сортировали на «мягких» и «твердых». Мягких уводили или уносили в барак, твердых укладывали ряд на ряд, как дрова в поленнице, чтобы после предать земле. И еще раньше, до казанской ссылки, я видел в Москве коллекцию сортов «голодного хлеба», собранную на местах одним из членов общественного «Комитета помощи голодающим», – замечательную коллекцию суррогатов, которыми пытались питаться миллионы умиравших от голода крестьян; ни в одном музее мира не найти такой коллекции разноцветных камней и неведомых пород, и то московское собрание погибло при аресте членов комитета.

Я мало видел, но много слышал в Казани от очевидцев. Из всех рассказчиков самым остроумным был следователь, которому вначале были поручены дела о людоедстве; после, когда эти дела умножились, их предали забвению, тем более что большинство «преступников» явиться на человеческий суд уже не могло. Следователь, человек новой формации, без всякого образования, но уже успевший усвоить казенный «юридический» язык, возмущенно повествовал, как в большой крестьянской семье ели умершего собственной смертью деда, которого перестали кормить. В протокол по этому делу следователь записал: «Означенные граждане варили из головы суп, который и хлебали, даже не заправив его крупой или кореньями». Я запомнил эту фразу – она гениальна!

О, я мог бы привести здесь много рассказов о голодном годе, – не для русского читателя, которого ничем не удивишь, а для иностранца, для того самого, который строго судил Россию за уход с фронта, а сейчас одобряет за отчаянное сопротивление. Мог бы, например, нарисовать жанровую картину, как кучка полуживых плетется по следам умирающего, который из последних сил пытается углубиться в лес, найти покой своим костям; так точно стая волков преследует раненого собрата, подлизывая его кровь на снегу. Да, мы люди дикие, лесные. Леса наши огромны, селенья редки; по Казанской губернии можно ехать на лошади две недели, не встретив по дороге ни дома, ни человека. Как же вы полагаете, понятно ли было жителям тех мест, какими дипломатическими обязательствами была связана Россия, во имя чьих интересов должен был оставаться на фронте русский солдат: черемис, мордвин, татарин, вотяк, остяк, самоед? Уж и правда – не покривил ли он душой, бросив фронт и ненавистное ружье, истолковав по-своему «свободу»? И если сегодня он на тех же фронтах борется зверем – не случилось ли что-то особенное в России за истекшие годы?

В Москве, на Собачьей площадке, был скромный особняк, в котором приютился общественный «Комитет помощи голодающим». Неурожай и голод явления в России обычные, но ни одно правительство не могло справиться с ними. Настоящую помощь оказывала только сплоченность общественных сил; при Екатерине Второй с голодом боролись московские масоны, при Николае последнем – люди, созванные Львом Толстым. Правительство, вышедшее из Октябрьской революции, сильное в терроре, было бессильно спасти от смерти миллионы приволжских крестьян; и оно пошло на риск, допустив в Москве образование общественного комитета с участием и представителей правительства. Если кто-нибудь успел записать краткую историю этого комитета, то он рассказал, как нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей из Центра и Сибири, как в кассу общественного комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать комитету официальному.

Огромная работа была произведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный комитет, никакой властью не облеченный, опиравшийся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряжения, которые исполнялись с готовностью и радостно всеми силами страны. Он мог спасти – и спас – миллион обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток правителей России, подорвав их престиж; о нем уже заговорили, как о новой власти, которая спасет Россию. Ему уже приносили собранные пожертвования представители войсковых частей Красной Армии и милиционеры. Екатерина Вторая разбила московское масонство, Николай последний преследовал работавших на голоде «толстовцев»; октябрьская власть должна была убить комитет прежде, чем он разовьет работу. В Приволжье погибло пять миллионов человек, но, политическое положение было спасено. В доме на Собачьей площадке очередное заседание комитета, но не приехал председатель, народный комиссар Каменев[52], раньше аккуратный. Я сижу рядом с В. Фигнер[53], знаменитой революционной старушкой, выдержавшей двадцатилетнее одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости, строгой, серьезной, не утратившей веры в революцию. Говорю ей: «Вот сейчас явятся чекисты, и мне придется провожать вас под ручку в тюрьму». Было легко пророчествовать в те дни, и я втайне жалел, что не уехал по зову приятеля в деревню ловить рыбу; но я был редактором газеты комитета, единственной независимой газеты, которая была разрешена; ее третий номер был набран, и гранки лежали в моем портфеле, – газета без тени политики, целиком посвященная информации о голоде и принимаемых нами мерах. Гудят у подъезда моторы, и впереди черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке, с револьвером у пояса. Старушку

[52] Каменев – Лев Борисович Каменев (1883–1936), один из руководителей большевистской партии, в описываемый период председатель Моссовета.

[53] Фигнер – Вера Николаевна Фигнер (1852–1942) – революционерка, член «Народной воли», двадцать лет пробыла в заключении.

Фигнер пощадили, нас повезли на прекрасных машинах. Один из спутников спросил на ухо: «Как вы думаете, это – расстрел?» Я кивнул головой уверенно. Иначе – какой же смысл в аресте? Чем его оправдать? Нас нужно объявить врагами революции и уничтожить! Тюрьма на Лубянке не приготовлена к приему столь многих гостей, и мы заперты временно в большой комнате, служившей раньше торговой конторой, вместе, мужчины и женщины, все – люди на возрасте или уже старые, общественные работники, кооператоры, профессора, писатели, врачи, инженеры, бывшие члены Государственной думы, бывшие министры при Временном правительстве, вообще – бывшие люди. Большинство впервые в тюрьме и не знают, что делать. Я знаю хорошо по прежнему опыту: нахожу уголок почище, ложусь на пол и засыпаю под возбужденные разговоры. Утро вечера мудренее, если, конечно, утро придет.

Утро пришло. И было еще много утр в камере лубянской тюрьмы, где, до ссылки, я просидел два с половиной месяца за посильное участие в борьбе с посетившим Россию голодом. Камера была одиночная, но сидело в ней то шесть, то семь человек разных званий и по разным делам: два члена комитета; бывший морской офицер в продранных сапогах, которому ночью крыса искусала палец; старый крестьянин, продавший на базаре пуд муки; коммунист-комендант, не угодивший начальству; еще неопределенные лица, может быть подсаженные слушать наши беседы. Сидели недели по две-три, потом исчезали, заменяясь новыми. Я пересидел других. Надзирателями были латыши, низколобые, грубые; дважды в сутки они выгоняли нас гурьбой в уборную, на что полагалось десять минут, вместе с обязательной уборкой мокрыми швабрами, которую мы выполняли по очереди. Тюрьма была страшная, без всякой возможности общения между камерами и с внешним миром; в царских тюрьмах эта возможность всегда была. Не было книг, никогда не водили на прогулку. Нас кормили супом из воблы и воблой из супа: вобла гнилая и червивая; но допускалась передача пищи с воли, и родные и друзья выстаивали часами в очереди у конторы тюрьмы; иногда передача не принималась, и это

обычно означало, что арестованный расстрелян, но прямо об этом не сообщалось. Не расстрелянный в первую неделю, я считал, что опасность прошла, и сидел спокойно. Иногда водили на допрос, но допрашивать было, в сущности, не о чем, отвечать на допрос нечего; никакой вины за нами не было, сочинить ее было трудно, так как комитет старательно избегал всякой политики и вся деятельность его была открыта; но причислены мы были к разряду под буквами КР контрреволюционеры, у половины арестованных членов комитета было немалое революционное прошлое, но это дела не меняло. До ссылки я не знал, что был, в числе шестерых, намечен к «ликвидации», от которой нас спасло заступничество Фритьофа Нансена[54]. Я никогда не видел этого замечательного человека, память которого чту независимо от того, что обязан ему жизнью. Вместо расстрела эти шестеро были сосланы в глухие провинциальные местечки; мне на долю выпал Царевококшайск[55], гиблое лесное поселение Казанской губернии, жители которого гнали смолу и по весне, когда вскрывались реки, сплавляли до Волги лес; доехать туда мне не привелось по болезни, задержавшей меня в городе Казани. Всякая ссылка лучше тюрьмы. В тюремной камере было холодно и сыро, отопление не действовало. Чтобы поправить его, прислали в камеру рабочих, которые, по неопытности, вместо починки затопили нашу камеру горячей водой. Пришлось просидеть сутки, подобрав ноги; затем вода просочилась под пол, и этим дело кончилось. Отопления так и не поправили, и у нас зацвели зеленой плесенью деревянные доски, служившие постелью, соломенные тюфяки, стены, одежда, обувь, легкие. Ноябрь был морозный, и я рассчитал, что в такой обстановке, если даже не приключится острой болезни, до весны не дожить; весть о ссылке была настоящим освобождением и радостью. Поздним вечером вывели во двор, посади-

[54] Нансен – Фритьоф Нансен (1861–1930) – норвежский ученый-путешественник. Известен своими исследованиями Арктики. Один из организаторов помощи голодающим Поволжья (в 1922 г.).

[55] Царевококшайск – ныне Йошкар-Ола.

ли на грузовик и доставили на вокзал. В вагоне отвели отдельное купе троим ссыльным (со мной ехали два известных кооператора, члены комитета) и пятерым молодым конвойным солдатам, которые ухитрились тут же, при отправке, потерять мешок с нашими и своими документами и всем продовольствием. Это тоже было удачей, так как теперь было неизвестно, кто кого везет. Были морозные дни, в вагоне отопления не было, стекла были разбиты, и меня, больного, товарищи уложили на лавку, прикрыв всем теплым, бывшим в нашем распоряжении; путь до Казани – трое суток, и путь страшный: вагоны кишели вшами, по России гулял тиф. У моих запасливых спутников оказался нафталин, которым усыпали пол и самих себя. Несмотря ни на что, мы ехали весело, подсмеиваясь над конвойными, которых нам пришлось кормить своими припасами. Приехав в Казань, мы отказались идти с вокзала в местную Чека и направились в Дом кооперативов, где были встречены ласково и предупредительно. И нас и конвойных накормили так, как мы давно не ели, горячими щами, в которых плавали куски жирного мяса; спать уложили на настоящих кроватях, на мягких тюфяках, под простынями и теплыми одеялами. Наутро все же пришлось отправиться в казанскую Чека, где не знали, что с нами делать – никаких предпроводительных бумаг не было. Подумав, нас временно освободили, а конвойных арестовали для высылки обратно в Москву. Теперь уже мы проводили их на вокзал, усадили в поезд, щедро одарив деньгами и продуктами на дорогу. Недаром, по новой российской моде, мы все называли друг друга товарищами; слово «гражданин» еще не вошло в обычай. Я был слаб, но чистый воздух и некоторое подобие свободы сразу подбодрили и придали сил, и, преодолевая припадки ишиаса, я не без удовольствия бродил по улицам Казани, знакомой по прежним наездам. Недели через две мои спутники, сами раздобыв лошадь и сани, в сопровождении новых конвойных, поехали дальше в Царевококшайск; мне было разрешено остаться в городе для поправки. С провинциальными властями вообще можно было ладить, тем более что они нас несколько побаивались: сегодня –

ссыльные, завтра мы могли бы оказаться господами положения; о работе нашего комитета здесь, в голодной губернии, говорили с почтением. Слабо понимали, что произошло в Москве и почему мы высланы. Я был несколько поражен неожиданными визитами ко мне казанцев, в том числе молодого человека, преподнесшего мне свой «ученый труд» – тонкую брошюрку по экономическому вопросу – с очень трогательной надписью; он оказался коммунистом, профессором Казанского университета. Навестили меня и местные поэты и художники – в Москве на это никто не решился бы. Немного поправившись, я снял комнату в полуразрушенном большом доме, где оказалась превосходная печь, купил на базаре воз березовых дров, соорудил из досок отличный письменный стол, устлал пол и завесил окна новой рогожей – и зажил барином. Кооператив, снабжавший меня всем необходимым, нашел мне и службу по книжной части, синекуру, за которую я после отблагодарил его устройством в Казани книжного магазина, – все прежние были разграблены и уничтожены.

Россия того времени была полна противоречий; провинциальный ссыльный город – тем более. Читатель будет удивлен, если я ему скажу, что мне удалось в Казани, вместе с местными молодыми силами, издавать литературную газету – лишь с видимостью цензуры, при этом частную, хотя бумагу она получала из каких-то реквизированных складов. Все хозяйство газеты наладил, пользуясь знакомством, двадцатилетний юноша, симпатичный и нелепый местный поэт с забавным прошлым. В первые дни коммунистического переворота он оказался пламенным деятелем – следователем Чека, облеченным огромной властью. Но он по-своему понимал революцию, и, когда ему послали список арестованных, подлежащих допросу и, независимо от его исхода, расстрелу, он возмутился и приказал этих арестованных, девятнадцать человек, освободить; они успели скрыться, а его лишили должности. Он рассказывал об этом с возмущением: «Разве коммунизм не есть царство свободы и независимости?» Нам удалось издать десяток номеров, в которых уже появились статьи московских писателей, мною пригла-

шенных. Редактируя газету, я не подписывался и свое участие скрывал; но какой-то номер попал на глаза московских властей, и газету, конечно, прихлопнули – без личных для нас последствий. Ссыльный, я председательствовал на литературных беседах-митингах в Казанском университете, объявленном «свободной ареной»; получил бесплатно постоянное кресло первого ряда в местном театре, где режиссером был мой московский приятель; и медицинский «институт имени Ленина», маленькое аховое учреждение, по моей просьбе выдал мне удостоверение о «болезни, требующей для поправки перемены климата, желательно на климат московский, как наиболее умеренный». Все это не мешало мне оставаться в звании «врага народа» и даже подвергнуться однажды ночному обыску. «Да что вы у меня ищете?» – «Предписано обыскать, а что, мы и сами не знаем». – «Кем предписано?» – «Из Москвы телеграмма. Вы нам дайте, что есть». – «У меня ничего нет вам нужного». – «Ну, делать нечего, мы так и ответим». Получили по папиросе и ушли. Вы скажете: странное добродушие. Не добродушие, а нелепость: со мной случилось так; та же казанская Чека прославилась кровавыми расправами. В начале революции то же случалось и в самой Москве. Мне пришлось однажды, как председателю Союза писателей, хлопотать за товарища, сидевшего в тюрьме одесской Чека, которому грозил расстрел (хотя он был решительно ни в чем не повинен). Нужно было непременно добиться перевода его в Москву, где было легче его спасти. Для этого требовались какие-то подписи троих ответственных коммунистов. Две были найдены, для третьей мне указали на «комиссара» (всех тогда называли комиссарами) довольно свирепой репутации, из простых рабочих, который будто бы уважал литераторов. Я нашел к нему ход, и он пригласил меня прийти на квартиру в очень поздний час, почти ночью. Было очень противно, но я пошел. Квартира скромная, скорее бедная; «комиссар» в русской рубашке навыпуск, в кухне возится жена. Стол накрыт (хотя и без скатерти) для закуски, в центре бутылка водки. Комиссар явно доволен, что принимает писателя. Прежде всего – выпить. Если бы он жил с тем шиком,

как его высокопоставленные соратники, я бы попытался уклониться; но дело шло о жизни моего друга, ригоризм можно отбросить; притом скромность обстановки подкупала. Мы пили три часа отвратительный самогон; комиссар не интересовался, о ком идет речь; он рассказывал о себе, о том, как он уважает науку и литературу, как ему не удалось получить образования и как теперь, после революции, все пойдет по-иному, всякий будет учиться и добиваться своего. Поздней ночью, красный от водки, но сознания не утративший, резко сказал: «Ну, давай, какая там бумага!» Я проглотил «ты» и сунул ему лист, который он подмахнул с тщательным росчерком. Перейдя снова на «вы», он прибавил: «Это за то, что вы не гордый человек; а кого надо, мы не пощадим». С отуманенной выпитым головой я нес домой драгоценный документ. Была спасена жизнь писателя Андрея Соболя[56], впоследствии застрелившегося. Но по крайней мере, он сам решил свою судьбу.

Я довольно усердно выдержал рассказ о своей ссылке в стиле хроники. Но в сущности, для меня в то время всякая «хроника» прервалась. Я мечтал жить и работать в России, рвался в нее из эмиграции, верил в революцию, оправдывал в ней слишком многое. И вот я – «враг народа», контрреволюционер; опять тюрьмы, опять ссылки – все, уже испытанное при царском режиме, в той же последовательности, с теми же знакомыми подробностями. Снова бежать за границу? Но она менее всего меня привлекала, и это уже не прежняя Европа, война неизбежно изменила ее лицо. В чем-то мы ошиблись. А может быть, это было неизбежным; не будь большевиков, было бы Временное правительство, которое, превратившись в постоянное, действовало бы точно так же, были бы аресты, были бы тюрьмы и ссылки, были бы те же гонения на свободное слово, только

---

[56] Писателя Андрея Соболя – Андрей Михайлович Соболь (1888–1926) прозаик, знакомый М. А. Осоргина. Будучи социалистом-революционером (эсером), за свою деятельность ссылался на принудительные работы в Сибирь. После побега жил в эмиграции. В 1915 г. вернулся в Россию. История с арестом Соболя одесской ЧК вошла также в роман Валентина Катаева «Уже написан Вертер».

вместо пули карала бы за него традиционная веревка. Хроника жизни делается невыносимой. Если бы можно было уйти в мир образов, совсем не видеть того, что делается вокруг, совсем не участвовать в суете жизни! Невыносимо, когда история начинает повторяться.

Стояла в Казани суровая зима. На изразцы раскаленной печи я брызгал пихтовым экстрактом – воздух становился смолистым, и я видел себя летом в лесу, в деревне Загарье, куда меня возили в детстве. Буду писать роман. Буду как-нибудь тянуть жизнь. Но дорожить нечем и верить, кажется, не во что.

Какое прекрасное сентябрьское утро! Сияет светом наша улочка, огороды залиты золотом, за ними идет низина, по которой моими рыбацкими ногами протоптана тропинка к реке. Одинокая пара среди чужих людей, в чужой стране, сиротливые, нищие, мы в иные дни все же хотим улыбаться. Иностранцы, да еще русские, мы стали узниками приветливого французского местечка, куда спаслись беженцами в дни военной угрозы Парижу. Теперь лишены права и возможности передвижения. Но в любую минуту я могу взять свои удочки и пойти на речку Шер. Она малорыбна, но очень красива; за рекой занятая немцами Франция, – теми самыми немцами, которые сейчас стараются раздавить Россию. В мои записки о прошлом невольно вплетаются нити настоящего, но для читателя оно будет тоже прошлым, – для читателя, уже знающего то, чего я еще не знаю. Впрочем, мне некуда торопиться в этой книге, начатой до войны и все еще не догнавшей.

Жизнь – картинная галерея. По улице, на которую выходит окно нашей хибарки, скоро потянутся повозки с виноградом и те незамысловатые давильные машины, залитые кровавым соком, которые странствуют по дворам местечка в дни виноградного сбора. Однако по ходу моего рассказа естественнее смотреть из другого окна на засыпанную снегом, нечищеную Проломную улицу Казани. Там речки Казанка и Булат обе впадают в широкую Волгу, отделенную от города семью верстами унылых песков, зимой – снежной поляной, изрезанной немногими дорогами. В теплом кожаном полушубке и валенках я

брожу по казанскому базару, где прямо на снегу раскинулась мелочная торговля старьевщиков. Среди бытовой дряни – несчетные богатства, и я охотно накупил бы на свои гроши кучу музейных ценностей, если бы был человеком с будущим и с прочным пристанищем: томики бесценных уникумов, рукописных старообрядческих книг с цветными рисунками, чашки и чайники знаменитого поповского фарфора, бисерные вязанья, чудесные коврики, и все – почти что даром, по цене щепотки ржаной муки. Мой знакомый, не богаче меня, но здешний человек, завалил книгами две комнаты от пола до потолка, утонул в них в счастливом недоумении; он не искусен в отборе и бросается на все с одинаковой библиофильской жадностью. Полки кооперативного музея ломятся от новых случайных поступлений – образцов местного искусства и осколков любительских коллекций. Где бывшие хозяева этих разбитых сокровищ? Не они ли ушли в Сибирь и дальше с прошедшими через Казань добровольцами и чехословацкими отрядами?

На базаре пахнет эфиром и одеколоном, заменившими водку; до чего богата Россия! Бывший дворник дома, где я живу, теперь оказавшийся не у дел, так как дворники отменены и дома стали ничьими, ввалился ко мне божественно пьяный и насквозь проэфиренный, грохнулся на колени, поклонился до земли и промычал: «Прости меня, барин!» Я вижу его в первый раз, прощать его мне не за что. Пьяная отрыжка рабского духа. Толкаю его в бок носком валенка: «Встань, пьяная рожа, постыдись, ведь ты – гражданин!» Он обиделся: «Чего же ты дерешься? Я по-хорошему пришел. Драться нынче не приказано». Глаза красные, в войлок сваляна борода; хоть бы догадался ударить меня, все же было бы мне легче. Вытолкал его за дверь: «Ступай, проспись, проснувшийся народ!» Хожу весь день мрачный, не могу забыть оскорбительного «барина». Под вечер я зашел в открывшуюся дешевую столовую, целое событие для Казани, где нет, конечно, ресторанов, как и вообще частной торговли; как возникла эта – неизвестно, и почему ее терпят; вообще в провинции новый строй путается со старым, никто ничего понять не может. В столовой дали неплохую котлету, то

ли мясную, то ли из чего-то напоминающего рубленое мясо; и дали ломоть хлеба, слишком черного, но словно бы настоящего. Чудеса! Под стол забралась собака, путается у моих ног. Хотел дать бедняге хлебную корочку, сунул под стол: «Эй, где ты там?» – и собака выхватила корку синими детскими пальцами. В ужасе отнял руку: это голодный татарчонок. Женщина, служащая столовой, говорит: «Ничего не могу с ними поделать, вползают в дверь, как клопы, забираются под стол, крошки собирают. Главное, очень вшивые они. Иди, мальчик, иди на улицу, здесь нельзя!» Маленький скелет выползает и ухмыляется. Я вышел из столовой отравленным.

С Казанью меня роднят семейные воспоминания. В Казанском университете учились мой отец, дядя и старший брат. Гимназистом я посылал свои первые статьи в казанскую газету и даже полемизировал с сотрудником другой здешней газеты, тоже прятавшимся под буквами[57]; я был очень доволен и горд, узнав стороной, что это – прокурор окружного суда. Студентом я ездил из Москвы в Пермь и обратно на летние каникулы, пароходом по Волге и Каме, и Казань была серединой пути. Старался попасть на один из мощных пароходов Ольги Курбатовой, тянувших за собой баржу; пароходы были прекрасно оборудованы, проезд на них дешев, буфет превосходен, и шли они не трое, а пятеро суток - два лишних дня речного наслаждения. Я не люблю моря, оно скучно и однообразно; но плыть по большой реке с изменчивыми берегами – высокое наслаждение. В Казани было несколько часов остановки, и я ездил в город посмотреть на кремль и Сююмбекову башню; есть какая-то легенда о ней, не помню. С почтением смотрел на Казанский университет, питомцем которого был и Лев Толстой. Теперь я был частым гостем в стенах этого университета, хотя большинство его лучших профессоров ушло вслед за чехословаками в Сибирь; дальше их путь – на Дальний Восток, в Китай,

[57] Полемизировал с сотрудником… тоже прятавшимся за буквами – начинающий журналист Михаил Ильин пользовался помимо псевдонима «Пермяк» еще и такими, как «М. И-нъ», «Студ. М. И.» и т. п.

в Японию, оттуда океанами в места российского рассеяния – в Америку, в Австралию, черт знает куда и зачем, а кто мог – в Европу. Великий исход, переселение народов; гигантская чепуха. Оставшиеся робки, запуганы, бесцветны и уже уступают место людям большой воли и малой грамотности, «красной пропрофессуре», путающей науку с политикой, труды великих с пропагандными брошюрками. Новая страничка в истории многострадального города. Когда-то его разоряли междоусобия, он долго боролся с Москвой, был завоеван, спустя два века разграблен Пугачевым, много раз выгорал дотла. Его история любопытна, но это не значит, что жить в нем занятно, в особенности суровой зимой. И я мечтал вернуться в Москву; об этом хлопотали мои друзья. Гражданская война кончилась, может быть, наладится какая-нибудь терпимая жизнь. Мои бывшие спутники, члены нашего комитета, тоже хотят избавиться от ссылки, а пока, вероятно, гонят смолу и готовятся сплавлять лес на Волгу по весне; они мечтали уплыть на плотах из своей ссыльной дыры, – люди бодрые, здоровые, способные строить новую Россию. Ничего о них не знаю, мне не удалось больше с ними встретиться: но они, конечно, в России, а не в глухом французском местечке.

Весной мне разрешили вернуться в Москву «для лечения»; это было тем приятнее, что я был здоров. Немногие казанские друзья устроили мне проводы и какими-то путями выхлопотали проезд в удобном «служебном» вагоне; преимущество огромное, так как несколько страхует от сыпного тифа – грозы путешественников. Вагон довольно опрятен, у меня отдельное купе, другие купе на затворе, и только еще в одном едут чины военной охраны. Выйдя на остановке на перрон, слышу за спиной шепот: «Ихний комиссар!» Возможно, что и стража считает меня тайно подсаженным для контроля важным чином – сейчас ведь не разберешься, почему едет человек в вагоне финансового ведомства; смотрят почтительно, уступают дорогу. И только в Москве я узнал, что ехал в вагоне, нагруженном отобранными в церквах ценностями.

Московский вокзал. Какие-то заградительные отряды, заставы, проверка багажа. У меня ничего нет, кроме худого чемоданчика. На площади ни одного извозчика. Приятно прогуляться пешком через всю Москву по знакомым улицам. Был я преступником, мне угрожала смерть. Теперь как будто свободен. Немало прелести в революционной нелепости. Любопытно, что у меня нет никаких бумаг и кто я – неизвестно: но квартира осталась, и в ней мои книги, собранные так любовно. На углах улиц бывшие люди и мальчишки продают что-то вроде белых булочек. В воздухе – «новая экономическая политика». По пути встречаются магазины с тщательно протертыми тряпкой стеклами и с подобием витрины; частные магазины! Но люди еще остаются «сумчатыми»: с мешками за спиной, иные толкают впереди себя детскую коляску, очевидно для перевозки продуктов питания. Улица, на которой я живу, переименована. Звонок не действует – стучу. Я дома.

Я пробыл в казанской ссылке всего полгода и не считаю это время в жизни потерянным; везде есть люди, и хорошие люди, всюду – общения, о которых остается благодарная память. Комната с самодельной мебелью, поленница березовых дров в передней, сносное питание (я получал обильный «кооперативный» паек на своей службе), своя кулинария, великолепные казанские морозы, литературные беседы в малой университетской аудитории, новогодние пельмени в кругу актеров местного театра, мирные вечера в семье соседа по квартире, ласка моих молодых литературных друзей, сотрудников по газете и по устройству в Казани книжной лавки, – мне решительно не на что жаловаться. Но оказаться в роли и в положении «врага революции» и политического ссыльного – мне, со студенческих лет включавшему эту революцию в программу своей жизни, со всеми последствиями, это, конечно, не могло пройти бесследно. Я еще не ясно понимал то, что твердо знаю сейчас, когда тем же словом «революция», которое для нас было не только священным, но и исполненным определенного содержания, синонимом политической свободы, стали прикрывать наихудший деспотизм и величайшее насилие над личностью человека. Ка-

кой диктатор не использовал этого краденого слова? Какие гражданские цепи не выкованы из понятия «свободы»? Мы были последним поколением чистых и цельных иллюзий, могиканами наивных верований. И это наша вина: нужно было внимательнее вглядываться в глубь истории.

Эта краткая исповедь не ради политических высказываний. Ею я хотел бы только пояснить, почему те дни стали для меня, как для многих, как бы пограничными в духовном состоянии: днями не полной утраты – далеко нет! – а кризиса прежних верований, неумолимых к ним реальных поправок. Но это не значит – духовной прострации! Мы оставались живыми людьми.

Несмотря ни на что, наша духовная жизнь была чрезвычайно богата, – или мне это кажется сейчас, по контрасту с копотью прозябанья в заграничном русском рассеянии, по еще пущему контрасту с сегодняшним днем сидения в глухом французском местечке, в трагическом духовном одиночестве, в однообразии мелькающих дней. Нет, в те дни мы все-таки пили из полных чаш настоящее вино жизни. В нищете, в растерянности быта, в неуверенности дня и ночи, в буче важного, ничтожного, грозного, смешного, в грохоте разрушений и фантастических планах созиданий мы боролись за будущее, в которое, может быть, по инерции продолжали верить. Во всяком случае, мы жили необычайной, неповторяющейся жизнью – дух никогда не угасал. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас тогда мечтал променять эту жизнь на затхлость буржуазного покоя, на кофей с булочками, воскресный отдых, умеренные идеалы и их постепенное достижение. Вечно предстоя пропасти, мы все-таки жили в стране и в эпоху необычайных возможностей. Пляска смерти на богатейшей, плодоносящей почве, великолепные грозы, разливы великих рек, неожиданности пробуждений, – этого не выразишь ни словами, ни образами, это нужно было пережить в редком сознании каждым себя – страной и народом. Мне, европейцу, Европа вспоминалась безвкусным блюдом зеленого горошка под кисло-сладким соусом, старушкой в чепчике, чиновником на покое. Расширенными

зрачками мы смотрели на нашу Россию, настороженным ухом ловили музыку будущего. В дикой какофонии рычания, плача и восторженности. Именно тогда произошло первое отравление русских Россией, приведшее позже к изумительной слепоте, к убеждению в миссионерстве, к принятию учения о непогрешимости всех российских начинаний, от социального строительства до московской подземной дороги. Здоровое и радостное чувство, позже вытянутое хлыстом и ставшее официальным, претворилось в изуверство и самодовольство. Но если свобода стала политической карикатурой, с «отцом народов», заменившим «царя-батюшку», то виноват ли в этом сам народ, впервые научившийся читать по складам брошенную ему книжицу с картинками и сразу почувствовавший себя студентом? Раньше делившаяся неравно на кучку высококультурных и миллионы безграмотных, Россия стала вся поголовно полуграмотной в изумительном поравнении сверху донизу – от властей до рабов, от писателя до писаря, от «рабочего у станка» до «служителя искусства».

Я пишу о переживаниях кругов избранных, об умственных верхах, но то же и большее испытывали слои, с ними соприкасавшиеся или раньше им чуждые: среда рабочая, обласканная обещаниями, среда крестьянская, впервые окрещенная в гражданство. О необычайном, широчайшем пробуждении сознания в этих слоях свидетельствует быстро развившийся в России спрос на книгу, при первой возможности показавшую миллионные тиражи, тяга к знанию, заполнившая школы и университеты, появление новой интеллигенции, еще малосознательной, но почвенной, с мозгом, взвихренным внезапностью пробуждения, с упрощенными методами мышления, с особым, ломаным, полународным, полукнижным, языком, которым и до сих пор говорит Россия в быту и в покалеченной литературе. При огромных пространствах России это пробуждение и сейчас не завершено и не вошло в прочное русло. Издали оно нам кажется искусственным и как бы простецким, повторяющим на лету схваченные и заученные фразы, – в чем много правды, – но не может быть сомнения в огромности его значения. Им пыта-

лись и пытаются руководить сверху, завивая недоразвитые мозги марксистским штопором, сводя сознание к готовым формулам, иногда не без успеха, – но это не страшно при наших масштабах, это смоется в огромных потоках. Безгранична разница между европейским рабочим, удовлетворенным пропагандистской брошюркой и по ней строящим свое политическое сознание, и русским трудящимся человеком, жадным до знаний положительных, которые для него не приправа к быту, а откровение и горизонты которого настолько же обширнее, насколько сама Россия шире, моложе, свежее, сочнее и богаче своей престарелой соседки.

Охотно отдаю страницы воспоминаниям о моей России, какой я ее знал, какой ценил и как воспринимал. Но это уже последние о ней страницы; сейчас они оборвутся для меня, и жизнь не в первый раз швырнет меня за борт. Хочу, чтобы в памяти осталось как можно больше лучшего, что в России есть: зеленого шума и речных струй, земных испарений, мирного произрастания, неоглядных далей. Я пользуюсь ранним летом и бегу в деревню на берег Москвы-реки, речки-невелички, но извилистой и светлой, к соснам и лиственным рощам, к коврам озимых хлебов, к концерту июньских жуков, лягушек, мошкары и дрожащих листьев.

Уехать из Москвы в деревню Барвиху не так просто. На вокзал идти пешком, потому что извозчики разъехались по деревням на сельские работы; денег им не нужно, а не голодать можно только близ земли. Поезда существуют, но нет для них точного расписания. Добравшись до маленькой станции, шагай опять пешком два-три часа через поля, краткой дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лесом по корням деревьев случайной тропой. То солнце, то лесная полутьма, то дух медвяный, то хвойный. Изба в деревне снята раньше, мы делим ее пополам с семьей моего друга философа[58], культурнейшего и превосходного человека, глубокого, терпимого, с судьбой которого и

[58] Друг философ – Николай Александрович Бердяев (1874–1948), выдающийся русский философ, публицист.

дальше совпадет моя судьба, лишь с той разницей, что он проживет двадцать лет в Кламаре, я – в Париже. В деревне я немедленно дичаю – в одежде, в повадках, в распределении времени: ранней зарей на речке, сплю, когда сморит усталость, пишу урывками, поймав мысль на лету, увлекшись образом. Он – как бы на подлинной даче, жизнь – правильным здоровым темпом, сам в светлом костюме, даже в галстуке легкого батиста, днем за работой, под вечер в приятных и полезных прогулках за ягодой, за еловыми шишками для растопки самовара; для шишек берет с собой легкий чемоданчик. Наслаждаясь природой, он разумно мыслит, – я попросту пьян лесом, рекой, полями. Будто бы я пишу свой роман, но роман сам пишется в голове, а я больше валяюсь на траве, слушая стрекот кузнечиков, объедаясь земляникой, брусникой, костяникой, сладко тупея от лодки и рыбной ловли, и вижу во сне речную рябь и ныряющий поплавок. Гуляет ветерок по волнам ржей, в лесу шорохи зверушек, в зелень ныряет беличий хвост, заяц удирает, прижав уши, с шумом вспархивают птицы. Здесь заповедный лес, не рубленный три века, стоявший еще в дни царя Алексея Михайловича. Кто помнит, как заповедовали рубку в русских лесах? Входили в них торжественно, с крестами и хоругвями, со священником во главе причта, служили заповедный молебен и пели «Слава в вышних Богу и на земле мир». В заповедном лесу по воле живут и умирают деревья, нет ни дорог, ни просек, валежник не убирается, невозможно пробраться человеку и тем привольнее зверью. А попробуешь продраться вглубь – путь пересечет ствол павшей сосны, толщиной много выше человеческого роста, настоящая стена, хотя от ствола осталась одна кора. Все в зарослях и лианах, не колючих, как в южных лесах, но с мягкой настойчивостью запрещающих дорогу.

Мое последнее русское лето… Оно связано в воспоминаниях со многим личным, что дорого и важно только для меня, – при мне и останется. И вся Россия останется для меня в образе деревни со светлой рекой и заповедным лесом – в самом лучшем ее образе.

В Москву не тянуло – был за все лето два раза. Однажды туда собрался мой сожитель – и в срок не вернулся. Один из дачников, приехавший из города, рассказал, что там аресты среди писателей и ученых, почему – никто не знает, и понять трудно. Значит – нужно готовиться. Ночью сюда не приедут, можно спать покойно, с утра ухожу с удочками на речку. Условлено, что в случае тревоги мальчик махнет мне платком с холма. Хорошо клевала на хлеб плотичка, на червячка попадался окунек. С холма махнули платком, и в то же время к перевозу подъехал по бездорожью автомобиль – явление в этих краях почти невиданное. За речкой местный «совет депутатов», куда, очевидно, за справкой отправились на пароме приехавшие, оставив машину на нашем берегу. Все просто и понятно, и чекистская форма горожанам знакома. Один из приехавших остался с шофером в машине, но у меня нет выбора – по берегу одна тропа к лесу – мимо машины. Иду тихо и спокойно, загорелый, заплатанный рыбак, смотрю на военных людей с любопытством. Дальше – в прибрежные кусты, где прощаюсь с удочками; рыбу выпустил на волю раньше такое ее счастье. Взобравшись на береговую кручу, сразу углубляюсь в лесную опушку, мимо которой лежит единственная на Москву проездная дорога. В пяти километрах есть деревушка избы в три-четыре, где один домик снят моими знакомыми. Правда, там же, рядом, в бывшем большом барском именье, летом живут общежительно семьи народных комиссаров – Троцкого, Каменева, Дзержинского, главного палача, и именье окружено высокой кирпичной оградой – дачное гнездо предержащих властей. Но это хорошо, в таком месте искать не будут. Добравшись до деревушки, сажусь под домашний арест, чтобы выждать, какие вести придут из Москвы. Все-таки трудно сидеть в избе безвыходно в чудесную осеннюю погоду, а в лесу, как нарочно, появились белые грибы целые заросли, собирай хоть бельевыми корзинами. Выползаю с оглядкой на занятный спорт. На третий день узнаю, что часть арестованных еще в тюрьме, а часть выпущена на волю с предписанием готовиться к высылке за границу. Ни причин, ни обвинений; взяты люди, от политики далекие, «религиозные философы», ректор уни-

верситета, профессор-финансист, профессор-астроном, инженер, агроном, несколько писателей, литературный критик – никакой между ними видимой связи, случайный любительский отбор. Взят, конечно, и мой сожитель, но уже выпущен на свободу; он – московский профессор, из русских философов виднейший. Есть ли смысл скрываться дольше и до каких пор? В деревне, у нашей дачи, поставили стражу из местных парней, внушив им, что я – опасный преступник. Но парням ждать скучно, да и руки их нужны в хозяйстве. Зайдут, спросят, не вернулся ли, и уходят в поле.

Москва велика – приют найдется. Простившись с добрыми друзьями, покидаю свое убежище и иду на соседнюю с нашей станцию ждать поезда в Москву. Моим приютом будет в Москве частная хирургическая лечебница, где для меня уже готова койка в отдельной комнате и милый прием у владельца лечебницы, старого знакомого. Денек отдыха, на другой день беру телефонную трубку; я уже знаю фамилию следователя, которому поручено наше дело; не знаю только, что это за «дело».

– Алло, я такой-то, вы меня ищете?

– Да. Откуда вы говорите?

– Это безразлично, я могу к вам явиться. Но скажите, вы меня задержите?

– Я не обязан отвечать на такие вопросы.

– Но я хочу знать, брать ли мне подушку и перемену белья?

Молчание. Затем голос отвечает:

– Можете не брать.

– Тогда я явлюсь через час.

Идти и самому сдаться неприятелю – как будто малодушно. Но долго скрываться невозможно и слишком хлопотно, не столько для меня, сколько для тех, кто дает приют. И бессмысленно: мне нечего делать в подпольях, моя жизнь всегда была на виду. Быть высланным за границу, так недолго пожив на родине, хотя и успев вкусить ее пьяно и обильно, – совсем не улыбалось. Почему и за что? Но таких вопросов в то время не ставили. По ходячему анекдоту, в многочисленных анкетах, на которые приходилось отвечать гражданам нового свободней-

шего строя, была графа: «Подвергались ли вы аресту, и если нет, то почему». Все же Европа – лучшая тюрьма, чем подвалы Лубянки, Корабль смерти и прочее.

Поверив следователю, я не взял с собой ни подушки, ни белья, только добрый запас папирос, и отправился в страшный дом, мне уже достаточно знакомый, где прошлой осенью едва не кончил свои дни в зацветшей плесенью камере. Идти в тюрьму невесело – даже добровольно. Развеселить мог только новый анекдот. И вот оказалось, что даже на пути в тюрьму ждут гражданина препятствия. Помещение Чека, недавно переименованного в Гепеу (признак государственной устойчивости), тщательно охранялось, и смертному проникнуть туда было непросто. Первого часового я убедил соображением, что вызван по телефону, почему и не имею впускной бумаги, – ведь не доброй же волей приходят в тюрьму. Часовой смилостивился. В конторе, где у каждого оконца стояла толпа, я громко и настойчиво потребовал выслушать меня вне очереди ввиду срочности заявления; я мог возвышать голос – опасаться было нечего; и при общей робости громкий голос действует. «По какому делу?» – «По делу о моем аресте». – «Но вы не арестованы». – «Я для этого пришел». – «Нельзя, гражданин, без приказа». – «Что же мне делать?» – «Это нас не касается, уходите домой». Чистая идиллия! Пришлось опять убеждать другого часового у двери, ведшей внутрь тюрьмы, где были и комнаты следователей. Долго объяснял ему, что нельзя из тюрьмы выпускать, а туда отчего же не пустить, ведь назад свободно не выйдешь; пригрозил, что буду жаловаться. Пропустил и этот. Путался по бесконечным коридорам, пока на одной из дверей не нашел плакат с нужной фамилией. Следователь любезен: «Прежде всего подпишите бумажку». В бумажке сказано, что мне объявлено о моем аресте. «О каком аресте? Я не взял с собой подушки». Успокоительно говорит: «Вы только подпишите, я уж приготовил и другую». На другой значилось, что объявлено мне об освобождении, с обязательством покинуть в недельный срок пределы РСФСР. Любят новые чиновники бумажное произ-

водство. «И еще вот третью бумагу». На третьей значится, что в случае невыезда или бегства с пути подлежу высшей мере наказания, то есть расстрелу. Только улыбаюсь: «Предоставьте мне аэроплан, улечу хоть сегодня. Можно идти?» – «Еще заполните анкету». И действительно, как же можно без анкеты в канцелярском деле. Первый вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» Вопрос ехидный – как могу я относиться к власти, находясь в тюрьме и готовясь быть высланным? И я пишу: «С удивлением». Следователь морщится, но говорит: «Пишите что хотите, все равно уедете». – «Теперь все?» – «Вот только подпишу вам бумажку на выпуск отсюда». Возвращаюсь теми же коридорами, солдат отбирает бумажку и натыкает на штык. Дух канцелярский сменяется пылью летней московской улицы.

Значит – вот чем стала революция. Бури выродились в привычный полицейский быт. Ну что же, тем легче будет уехать из России. Вчера это казалось мне огромным несчастьем, сегодня не нахожу в душе ни протеста, ни особого сожаления.

Мы обязались немедленно оставить пределы РСФСР (тогда еще не было букв СССР). Путь указан: Москва – Петербург (еще не ставший Ленинградом), оттуда пароходом в Германию. Легко сказать – мудрено выполнить. Германия тогдашняя Германия! – обиделась: она не страна для ссылок. Она готова нас принять, если мы сами об этом попросим, но по приказу политической полиции визы не даст. Жест благородный – мы его ценим, но пускай и нас попросят. И нас убедительно и трогательно просят: «Хлопочите в посольстве о визах, иначе будете бессрочно посажены в тюрьму». Мы сговорчивы, мы хлопочем. Буду справедлив к сегодняшним врагам – они были к нам очень любезны: и визы, и даже обеспечение приема в Берлине, где о нас позаботится такой-то комитет, встретит на вокзале, подыщет временное для всех помещение. Переговоры задерживают нас в Москве на месяц с лишком. Мы стали «организацией ссыльных», мы собираемся, мы совещаемся, имеем своих представителей, обсуждаем свои дела. Хлопочем об иностранной валюте, об отдельных вагонах до Петербурга, о каютах на па-

роходе; с семьями нас семьдесят человек. Пока – мы самые свободные граждане республики: терять нам нечего, бояться тоже, и уста наши не замкнуты. Нами интересуется иностранная печать, и Лев Троцкий, идеолог нашей высылки, дает журналистам интервью: «Высылаем из милости, чтобы не расстреливать». Не чувствует ли Троцкий, что и сам будет выслан из милости? Нам многие завидуют: как хотели бы они поменяться с нами участью. Некоторым образом мы – герои дня. Почему именно на нас, таких-то, пало избрание, мы никогда не могли узнать: включены в списки отдельные лица, почти никакой связи между собой не имевшие. Ссылка некоторых поражала: никто не слыхал раньше об их общественной роли, она ни в чем не проявлялась, и имена их известны не были. Троцкому принадлежала идея, но выполнял ее менее умный человек. Или менее злой. Мы знали, что готовятся и еще списки петербуржцев; но там взялись за дело вяло.

Лично я удивлен не был. Мы с моим дачным сожителем, профессором Н. Бердяевым, возглавляли в то время Президиум Всероссийского союза писателей, слишком дорожившего своей независимостью от партийных влияний. Нужно было напугать союз – и он напугался. Накануне нашего отъезда из Москвы я в последний раз председательствовал на заседании правления союза – хотелось проститься с товарищами, мы так хорошо и так дружно работали. Я был одним из организаторов союза, писал его устав, перед отъездом передал союзу последний дар нашей лавки писателей – ценнейшую коллекцию библиографических, очень редких изданий и набор изданий рукописных уникумы переходных революционных лет. С нашим отъездом лавка ликвидировалась, но нас заботила судьба союза. Идя на это последнее заседание, я заранее заготовил самую краткую и самую сдержанную речь в ответ на прощальное приветствие, которого, естественно, ожидал. Ни приветствия, ни речи я не внесу в протокол, чтобы не повредить союзу. Были на очереди небольшие, обычные вопросы организации, и мы их исчерпали в какой-нибудь час времени. Не было никаких споров, члены

правления пятнадцать человек – были сдержанны и неслово-охотливы. Сейчас я объявлю повестку заседания исчерпанной, и тогда кто-нибудь попросит слова, на которое мне придется отвечать. Только бы его выступление не было резким и мне не пришлось бы просить воздерживаться от всякой политики. Повестка исчерпана. Двое-трое быстро встают и выходят – самые осторожные. Минута замешательства – никто не просит слова. И внезапно я догадываюсь, что никто его и не попросит, что союз уже достаточно напуган, что он уже не тот и будущее его предопределено. Я встаю – и все встают с облегчением. В передней молчаливо обмениваемся рукопожатиями, и я задерживаюсь, чтобы никого не вынудить идти по улице вместе с высылаемым преступником. Как я был наивен со своей заготовленной ответной речью.

Дома – прощальный прием, скромный прощальный ужин, и часть тех же людей, не нашедших слова в заседании, здесь не стесняются ни в чувствах, ни в их выражении. Я это ценю – но еще никогда мне не было так грустно и так смутно на душе. Нужно очень долго жить, чтобы не удивляться и не ошибаться в оценках. В сущности, ничего не случилось, люди милы, отзывчивы, нельзя сомневаться в их искренности и их дружбе. Я не сомневаюсь даже в их памяти – ну, хоть на несколько лет; мы жили в таком тесном общении, в такой охотной взаимопомощи. Но я сомневаюсь в том, что все они сохранят свои лица, не отрекутся от того, что казалось нам священным, – от независимости мыслей и суждений, от смелости их высказыванья. Нелегко уезжать, увозя с собой яд сомнений. А может быть, я слишком требователен? Мы уезжаем завтра – кто придет проводить наш поезд? Вокзал – не частная квартира.

Здесь я опускаю железный занавес.

Железным занавесом отрезана Россия, земля родная, страна отцов. Отрезана на двадцать лет – я кончаю эти воспоминания в юбилейный год разлуки. Я уехал молодым, с чувством уверенности, что не вернусь; эта уверенность с годами укрепилась.

Россия – шестая часть света; остается еще пять шестых. К сожалению, не всякое растение легко выдерживает пересадку и прививается в чуждом климате и на чужой земле. Я почувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москве, в поездках по нашей огромной стране, на местах работы, в ссылках, даже в тюрьмах; вне России никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком. Это не патриотическая чувствительность, а природная неспособность к акклиматизации. И кстати сказать, неохота; может быть, впрочем, и гордость. Почти все мои книги написаны в эмиграции и в заграничной ссылке; в России писать было «некогда»; но жизненный материал для этих книг давала только русская жизнь – и он казался мне неистощимым. Полжизни прожив за границей, я в своих воспоминаниях не вижу надобности говорить об этой напрасной половине; она слишком лична; и потому я обрываю свои записки на невеселой минуте расставанья с Москвой, моим последним «домом». Дальше будут иные оседлости, иные катастрофы и блужданья, – и вот я на берегу французской реки, имени которой прежде не слыхал. Но теперь уже совершенно безразлично, где жить и к чему еще готовиться: книга закончена, не стоит затягивать послесловие.

Во всех местах недолгой оседлости: в Москве, в Гельсингфорсе, в Риме, снова в Москве, в Берлине, в Париже – любовь к вороху бумаг накапливала архивы: житейские документы, записи встреч, дневники, тысячи писем. Часть исчезала при «катастрофах», часть сохранялась и снова разрасталась. Из Москвы нам не было разрешено вывезти ни одной писаной бумажки и ни одной книги: все, мною собранное, пропало. Но опять накопились «сокровища» в жизни заграничной – для новой очередной гибели.

В обществе этих постепенно желтевших бумаг и в обществе книг, которыми я всегда себя окружал, я жил, как в маленькой крепости, защищавшей от слишком сегодняшнего и, во всяком случае, чужого. Крепость пала, как пали многие другие крепости, казавшиеся достаточной защитой. Случалось так и прежде,

но хватало жизненных сил, чтобы упрямо отстраивать заново свое убежище. Может быть, нашлись бы они и теперь, эти силы; но случилось худшее – исчезло всякое желание.

И вот, подобрав обрывки прошлого, оставшиеся не на бумагах, не в документах эпохи, не в письмах, а в памяти, я их сплетаю в книгу, чтобы уж нечего было больше хранить и беречь.

Книга о детстве, юности, молодых годах. Старость не нуждается в книге – ей довольно эпитафии.

Содержание

Михаил Андреевич Осоргин

Времена

12+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru